Ненавижу войну

Иннокентий Михайлович Смоктуновский

SHOUT
SHARE
IT

- Смоктуновский Иннокентий Михайлович

Смоктуновский Иннокентий Михайлович
Ненавижу войну

Смоктуновский* Иннокентий Михайлович

Ненавижу войну

* По-настоящему Смоктунович Иннокентий Михайлович

Аннотация: Часть вторая [мемуаров И.М. Смокнутовского "Быть"] имеет название - "Ненавижу войну", и посвящена отцу, погибшему на фронте в сорок втором. Так могли писать о войне Андрей Болконский и Пьер Безухов. Так должны бы снимать "Войну и мир" режиссеры, которых у нас пока нет и не было. Кинематографичность - одно из высочайших достоинств прозы Смоктуновского. Настроение, неожиданные ракурсы, "раскадровка" событий, общие и крупные планы - все это создает ощущение не книги, а видения. "Ненавижу войну" закольцовывает книгу в том смысле, что оправдывает ее название - "Быть!", данное как ответ на гамлетовский вопрос и кажущееся поначалу чересчур бодряческим. Потом понимаешь, что это правда человека, попробовавшего на вкус много разных "не быть". Последнее из которых, вроде бы самое безнадежное и необратимое, вновь оказалось опровергнуто. На сей раз книгой. (http://www.yampolskaya.ru/Knigi/14.htm)

Содержание

Часть первая. Гастроли

Часть вторая. Двор

Отцу моему, Михаилу Петровичу Смоктуновичу,

погибшему на фронте в 1942 г.

Часть первая.

Гастроли

Не могу сказать, что я привык бывать в Варшаве, - нет. До нынешнего прибытия было всего два скороспешных, несколько перенасыщенных по программе и оттого довольно нервных, пребывания в столице Польши - вот, собственно, и все, похвастать, как говорят, нечем. На сей раз в составе огромного коллектива МХАТа, летящего в эту страну на гастроли, где, по существу, занятость моя не так уж и велика, всего в двух спектаклях, и я заранее знал, что свободного времени у меня будет предостаточно и, просто отдыхая, я буду бродить по картинным галереям, прекрасно восстановленным улицам Старого Мяста, с затаенным дыханием постою, призывая все свои

душевные силы продлить жизнь, хотя бы в памяти моего зашедшегося в горе сердца, всех тех, кто не смог выйти из-за стен Варшавского гетто. Буду праздно бродить по новой, возрожденной Варшаве, всматриваясь в лица прохожих и зная, - будет радостно и тепло от сознания, что в этой славной кутерьме варшавян, живой человеческой суматохе дня есть и моя ничтожно малая доля усилий, добрых порывов, устремлений.

В январе 45-го, - а на подступах к Варшаве еще раньше, в октябре декабре 44-го - я был участником битв за освобождение Варшавы, чем, естественно, горд, но за давностью событий не очень с кем откровенничал по этому поводу, может быть, из боязни показаться нескромным или, чего доброго, хвастуном. Да и что говорить: я же не один тогда боролся за жизнь Варшавы. Этой высокой миссией были охвачены огромные советские и польские войсковые соединения. Однако множественность эта отнюдь не смущала меня, напротив рождала тогда, да и теперь при воспоминании о ней, чувства истинного доброго братства, душевности и сплочения. Подлетая теперь к Варшаве, я, должно быть, самозабвенно ушел в себя, поглощенный этой великой общностью устремленных к одной прекрасной цели людей.

- Репетируете, что ли?.. Вот уже минут пять наблюдаю, как вы выделываете всякие рожицы с закатыванием глаз, - вернул меня к реальности мой друг, замечательная актриса нашего театра Екатерина Васильева.

- Ну что вы! После всех этих чудовищных передряг с моим юбилеем меня долго еще на любые репетиции калачом не заманишь. А здесь тем более. Надо отдохнуть, просто жить, радоваться обычному бытию, созерцанию, черт побери, так, кажется, называется это. Надо же когда-нибудь узнать, что это такое. Меня здесь никто не знает, никому я тут не нужен и глупо не воспользоваться этой возможностью. Наконец-то смогу быть самим собой - принадлежать своим мыслям. Да здравствуют Польша, свобода, отдых, доброе настроение и ма-а-асса свободного времени!

- Вы что же, никогда не бывали здесь раньше?

- Ну почему же... лет двадцать назад приезжал со своим Гамлетом... Было совсем недурно, но... порою я умею устроить себе так, что все мои злопыхатели и недруги, объединив усилия, не смогут повредить мне больше, чем сделаю это я сам. Перекурил на премьере... да так, что было просто нехорошо - в глазах все плывет, валится, внутри лихорадочная дрожь, готовая перейти в какое-то новое, еще более нестерпимое состояние, и как рыба, выброшенная после крючка на лед, метался в самом себе, хватая ртом воздух, пока не зацепился сознанием, что

спасение только в глубоких вздохах.

Помню смешной, но больше, пожалуй, нелепый случай в связи с этим. Поздно, безлюдной ночью вернувшись в гостиницу, я ввалился в кабину лифта с приглушенным светом, продолжая глубоко дышать, еду себе на какой-то там свой этаж, и было тоскливо видеть в зеркале напротив: до чего может довести человека его безволие - я был бел как мука и мои спазматические усилия заглотнуть побольше воздуха в себя делали меня похожим на бесформенный манекен-пузырь, который, периодически раздуваясь, казалось, то стремился выдавить собой весь находившийся в кабине воздух, то сморщивался, угасал, уходя куда-то вовнутрь. И действительно, было просто тяжело быть свидетелем этих крайних усилий. Остаточным, свободным от никотина уголком сознания смутно угадывалось, что это - я, хотя сходство было весьма и весьма отдаленным. Как понимаете, здесь было над чем поразмыслить, что, помнится, я и пытался делать, но вдруг наткнулся на... глаза. О! Невероятно... Одни глаза! Что бы это значило? Глаза? Но такого не могло быть - глаза всегда чьи-то, а здесь никого нет, а глаза есть. Они секундой ранее выдвинулись из-за моего плеча и, уставясь на меня, вкопано стояли на месте... Ну, всякие бывают галлюцинации, я, правда, в этом никакой не знаток, однако приходилось слышать, но чтоб такое... Представляете?.. Кругом ни души, а из зеркала, как леший из болота, прямо в тебя уперлись глаза... "Начинается, должно быть", пронеслось во мне... Ну, наверное, я на них воззрился не хуже, чем это они проделывали со мной. Что такое? Моргнув, эти два ока обнаружили ряд белейших зубов, и, промяукав что-то, закрылись. Послышалось раздраженное шипенье. Не успел еще что-либо сообразить, из-за моей спины шарахнулся темный силуэт... передо мной - злая как мегера и черная как смоль стояла негритянка. Мне настолько было худо, что, входя в пустой лифт, я не приметил, как она, скользнув, желая, должно быть, подняться этим лифтом, чтоб не ждать следующего, пристроилась за моей спиной у двери, и, упражняясь в дыхании, я чуть было не придавил ее, бедняжку. Ну, сама виновата, не надо быть такой уж чересчур черной... Все должно быть в разумных пределах. Правда, я сожалел и честно пытался извиниться, но она, гневно фыркнув, на этот раз не удостоила даже взглядом. Все равно она была прелесть как мила... этакая строптивая смоль, фурия. Замеча-а-ательно. Хорошо, что еще не укусила, а стоило, право, стоило. На следующий день я пошел было караулить ее и купить ей цветы, чтоб хоть как-то смягчить эту неловкость мою, но... весна, цветы страшно дорого стоили и, посокрушавшись, я отказался от этой разудалой гусарской затеи,

и правильно сделал, должно быть, так как днями позже мельком видел ее в окружении каких-то страшно важных, лоснящихся, толстеньких господ, похожих на персон из дипломатического верха... чего доброго подумали б чего-нибудь не так - ну и скандал, а это, как мы знаем, всегда неудобно - гнетет и пугает.

Варшава встретила нас, пожалуй, более сдержанно, чем мы предполагали. Пять-шесть человек, недурно говорящих по-русски, тактично, сдержанно улыбаясь, вручили кому-то букеты цветов. Погода была несколько пасмурная, это, очевидно, сказывалось на общем настрое, и оттого, должно быть, никто не обнимал и, уж конечно, не бросался с поцелуями, что, кстати, не могу отнести к недостаткам этой встречи, скорее, напротив. Дни советской культуры в Польше - стало быть, приехали культурные люди и встречали их в центре Европы, в своей столице Варшаве, тоже не какие-нибудь непросвещенные, увешанные там всякими блестками, стекляшками аборигены, а воспитанные, с университетским образованием, тонкие, предупредительные, интеллигентные люди. Ну и нечего набрасываться друг на друга. И так все ясно, а главное достойно и просто. А ведь бывало порой - терзаешь какого-нибудь едва знакомого человека или он тебя, а потом мучительно вспоминаешь: на этого, что ли, набрасывался с поцелуями или нет, вон на того, кажется, который до сих пор морщится и головой крутит - никак в себя прийти не может. Вот и стоишь этаким истуканом: облобызались, как близкие и родные, теперь стоишь рядом, а говорить не о чем. Неудобно, зажат, стеснен до стыда, даже жалко становится самого себя. Ну а здесь жалость-то как бы совсем ни к чему. Да и вообще она не нужна. Ну-ка ее. И это понимали не только мы, но и наши польские товарищи. Поэтому после бодрых, дружных рукопожатий все наши также быстренько и дружно позалезали в автобус, и я даже заметил на лицах наших польских друзей некоторую растерянность, что-то вроде: "Тех ли мы встретили-то?" Оно, конечно, коллектив коллективом, а захватить себе хорошее место у окна автобуса - крайне важно (наблюдать проплывающую мимо незнакомую страну), и они теперь сидят там с видом выполненного долга. Путь из Варшавы до Вроцлава действительно не близкий. Мне, должно быть, как одному из старейшин театра (8 апреля МХАТ СССР в Москве торжественно отметил мое 60-летие, вот об этом-то юбилее я и говорил ранее), неторопливому, не суетящемуся человеку, осталось место, которое никому, должно быть, не понравилось - в конце автобуса, это там, где всегда почти непременно пахнет бензином. Правда, я не очень люблю запах бензина. Мне больше нравится дух свежевыпеченного хлеба, ароматы леса после дождя и по весне

парок прогретой солнцем земли или запахи скошенной под вечер травы, совершенно ведь неописуемые, но оттого не менее чарующие. Чудо как хороши. Замечательно! А здесь - бензин! Но и это еще было бы ничего. Дело в том, что оставшееся мне сидение располагалось как раз над колесом, над задним колесом, и колесо это, должно быть, было очень большое, потому что для ног внизу места не оставалось никакого, то есть оно было, но по высоте почти вровень с сиденьем. И стоило мне лишь легонько поместить ноги на это место и попробовать присесть, как мои колени оказались на уровне ушей. Проехать так две-три автобусных остановки, пожалуй, и можно, однако сидеть такой закорюкой 300 километров пути до Вроцлава - много сложнее, я думаю, и сложность заключалась даже не в самом пути, а в том, как потом уже, по прибытии на место, вытаскивать, разгибать и выпрямлять эту утрясшуюся за дорогу и перевернутую несколько не в ту сторону штуковину в сером плаще, похожую на какого-то знакомого человека. Вот только это меня и смущало. Однако уже сидя в позе этакого кузнечика-великана, я вспомнил совершенно успокоившую меня мысль из Дарвина: "Что ни говори и как там ни крути, а человек произошел от обезьяны, и хочешь ты этого или нет, а дань своим предкам порою отдавать необходимо". И - странное дело! - мне сразу стало легко-легко. К тому же жена моя, Суламифь, перед моим отъездом говорила: "Твои большие спектакли театр в Польшу не везет, у тебя только две небольших и, в общем-то, нетрудных роли - тебе будет легко, там ты и отдохнешь". И теперь, сидя на колесе, естественно, я не стал противиться доброму напутствию моей жены и, про себя сказав ей "спасибо", а самому себе "три-четыре!", начал отдыхать.

Однако я должен пояснить: "три-и-и - четыре!" - это вроде команда такая внутренняя, самому себе, ну вот, как говорят или даже кричат, толкая сообща что-нибудь тяжелое: "Взя-я-ли!", чтоб сразу и лучше пошло. Вот так точно и я, только кричал не "взяли", а "три-четыре". Кричать "взяли" вроде бы как-то не совсем удобно - я один, а "взяли" - число множественное. Представляете, человек в шляпе сидит на колесе, колени его каким-то образом едва не выше его головы, и между этими торчащими ногами можно даже увидеть лицо того человека, с несколько ошалелыми глазами, время от времени довольно бодро выкрикивающего: "Взяли!.. Взяли!.." Согласитесь, несколько странно, не правда ли? И поэтому я сказал про себя, как молитву: "Три-четыре!" - и все, никто не слышал и не обратил внимания. Я сижу на колесе, и скоро поедем. Да здравствует сервис, комфорт, самодисциплина и всякие другие не менее вдохновляющие славные и бодрые воззвания.

Как всегда какие-то организационные неполадки не позволяют нам тронуться в путь. Кого-то, видите ли, нет, "их" ищут, "они" изволят гулять-с! Ох уж эта театральная публика! И так всегда: кого-то ищут, кого-то ждут! Ладно, будем добрыми, терпеливо-разумными и возьмем себя и свои нервы в руки. Будем ждать и мы. "Три-четыре. Начал ждать". Наконец там, на свободе, вне автобуса, где люди ходят прямиком, стало проявляться некоторое беспокойство, даже нетерпение: да где же он в конце концов??? И в это же время кто-то неуважительно, грубо забарабанил в окно автобуса прямо возле меня. Высунув нос, я увидел нашего заместителя директора Эрмана, Леонида Иосифовича, который, увидев меня, не смог да и не пытался скрыть своей полной радости и счастья, заорав: "Вот он!.. Наконец-то - берите его!" Оказывается, искали и ждали меня одного, и, действительно, меня быстренько взяли, усадили в уютную, чистую, свободную легковую машину да еще спросили: не будет ли мне скучно одному? На что я, естественно, заорал: "Ни в коем случае!!! Наоборот - чудно!", но мне, кажется, не поверили.

И вот мы катим по прекрасной дороге. Вместо одного большого колеса подо мной целых четыре, и они не только маленькие, но, что много существеннее, нормально расположены подо всей машиной, и ноги мои вместе с коленями находятся там, где и должны находиться, и я могу их вытягивать, если на то будет охота.

Какое замечательное завоевание нашего времени - автомобиль! Помимо элементарных транспортных удобств, то есть прямых его услуг, столь остро я, пожалуй, впервые почувствовал возможную в нем атмосферу доверительности... Да нет, это понятие не в силах вместить то, что жило тогда в машине. Душевность - вот, должно быть, - она. Приходилось слышать и раньше, что машина редко, как какое другое закрытое помещение, может не только гарантировать секретность, скрытность разговоров, происходящих в ней, что само по себе совсем недурно, но и располагать к искренности. Однако секретность - это "чревовещательная" область тайн, напряженных шепотов, оглядок на двери, углы и потолки, где все ограждено и скрыто, а в машине, к тому же, и не стоят на месте, и это, как всякая тайна или преднамеренное уединение, для стороннего глаза несет в себе нечто недоброе, настораживающее, что, естественно, порождает появление не очень честных, благовидных и уж совсем недостойных реакций и желаний - хочется, например, подслушать, узнать, подсмотреть, черт побери, и даже промелькнет мысль: а не позвонить ли в милицию, чтобы

проверили документы, потому что явно замышляется что-то такое, о чем они - те, в машине - не могли даже говорить в обычных человеческих условиях, а уединились!

В нашем же случае, кроме самой машины, было все иное и совсем иное. Снаружи продолжал накрапывать мелкий весенний дождь, теплый ветер весело настаивал на своем трепетном порывистом желании - непременно разбудить природу, так долго дремавшую зимой, а машина, окончательно уверившись в доброте и честности своих пассажиров, плавно скользила по мокрому асфальту и легким, умиротворяющим шорохом шин как бы призывала все окружающее к тишине, чтобы не вспугнуть поселившихся в ней искренность и простоту. За окнами машины, радуя глаз, пробивался первый зеленый дым листвы. В Москве мы еще только ожидали его. Было рано, было еще слишком рано - не приспело время, и сознание, жадно поглощая это зеленое изобилие, не забывало напомнить, что по возвращении в Москву через месяц мы сможем также утолять голод в этом весеннем вздохе авитаминоза чувств нежности и цвета. Две тысячи километров к нам на восток до нашей Москвы тому порукой. Две весны кряду? Когда такое еще может быть? Все прекрасно, и я - отдыхаю!

И как страшно, что всего этого могло не быть - ни этих ухоженных, чистых, уютных домов, участков, ни этой бодрости трудового утра у всех, копающихся в поле и около дворовых построек, несмотря на накрапывающий дождь. Да просто-напросто меня самого могло не быть. И копались бы совсем-совсем иные, другие по своему настроению, самочувствию, жизни люди, а не этот славный, достойный народ. Как дурное ощущение, припомнились программные идеологические вывихи нацистов, их антигуманные, человеконенавистнические цели - постепенное уничтожение многих десятков миллионов славянских, да и не только славянских народов, с целью ослабить, подорвать навсегда их количественную мощь и сведение оставшихся до положения рабов.

Какое уродство, какая чудовищная гниль в сознании и действиях! Нет, такого не могло быть! Такое не должно было жить - вот уж действительно не имело права.

Рядом со мной в машине поместился один из польских товарищей, встречавших нас в аэропорту. Это все для того, чтобы я не скучал, и машина уносила нас вперед к Вроцлаву. Было приятно видеть где любовно уже запаханную, обработанную землю, где лишь аккуратно разбросанный навоз. Как редкую диковинку заметил быстро перебегающего дорогу длиннохвостого фазана, а несколько позже - совсем промокшего, какого-то

несчастного на вид зайца, который некоторое время скакал в одном направлении с нашей машиной, потом вроде, сказав самому себе: "С чего вдруг мне развлекать его?", остановился, даже не взглянув в нашу сторону. Но он действительно был уж очень мокрый, как лягушка, и ему было явно не до меня.

Машина отсчитывала километр за километром, было хорошо, уютно, тихо и тепло. Соседом моим оказался прекрасный человек, и если был у него какой ясно выраженный недостаток, который можно было бы выявить за столь короткий отрезок времени, так это не то, что он страшно много курил, а то, что каждый раз, желая закурить, просил разрешения проделать это, несмотря на то, что я дымил вместе с ним. Вот только это меня несколько огорчало в нем. Однако в разговоре вскоре выявился второй и, надо полагать, последний его недостаток. Но недостаток этот был не его, а у него. Ему не доставало бензина для его личной маленькой машины, с чем он, впрочем, уже мужественно смирился и не без удовольствия и удивления для самого себя открыл наличие удобного общественного транспорта в Варшаве. Звали этого замечательного человека Ян. Вероятно, он один из тех добрых людей, которые даже не подозревают о своей доброте. Осознание подобными людьми этого редкого их дара вроде как бы и не обязательно, просто они бывают сами собой и другими быть не могут - и все тут!

Ощутив его душевную расположенность, на вопрос, впервые ли я в Варшаве (я понял, что со времен "Гамлета" меня здесь действительно забыли, что было приятным доказательством правоты моей жены - что здесь-то я в самом деле смогу отдохнуть и прийти в себя после сумасшествия с юбилеем), под ровный, легкий шум машины я вкратце поведал ему, что я бывал здесь и много раньше и даже прошел пешком с автоматом в руках по большей, как мне казалось тогда, части Польши во время войны.

- Позвольте, так вы что же - воевали? Сколько же вам тогда было?

- Немного, около двадцати. Я уже немолод, а сейчас, если и выгляжу не худо, то только благодаря тому, что в Москве перед вылетом тщательно побрился.

Он не то не понял мою остроту, не то не принял, а, серьезно посмотрев на меня, тихо продолжая оценивать что-то связанное со мною выговорил: "Ах вот оно что-о-о!?" И, конечно, тут же, показав мне на сигареты, - дескать, после такого не закурить просто невозможно - задымил. Я присоединился к нему, и нашего доброго, славного некурящего водителя, похожего на молодого, здорового Санчо Пансу, забил кашель, отчего машину нашу стало бросать, словно она шла по неровно вымощенной мостовой. Когда

приступ никотинной астмы у водителя кончился и мы перестали колотить макушками в потолок машины, я без затей поведал Яну, что в конце 44-го года 165 гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой я воевал, брала основательно укрепленный немцами город-крепость Седлец, что особых подробностей не помнится, кроме одной, пожалуй, страшной, как наваждение...

И в первый раз подумалось - почему именно этот случай так глубоко и больно продолжает ранить память и сердце? Не оттого ли, что все в нем выходило за пределы дозволенного даже войной, если вообще само состояние войны можно считать позволительным. Вот то, что оставила память о трагедии на подступах к крепости Седлец.

Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем огромного кавалерийского соединения, и оно на исходе ночи в долгой веренице однообразных приглушенных звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно проносилось мимо нас. В их безмолвной устремленности было что-то от страшного миража живого, закручивающегося вокруг тебя омута. Многие всадники были в черных плечистых бурках и в уходящей темноте виделись огромными доисторическими чудищами со сложенными крыльями. Лошади, казалось, чувствовали затаившегося впереди врага и неизбежность страшной встречи с ним, нервно широко раздувая ноздри, проносились мимо. Зарождающийся день скупо манил надеждой, но только неизвестность, лишь одна она, была внятной брезжущему, робкому утру. Важные, суровые конники и на лицах их, насколько можно было успеть различить, осела некая тайна. Ни единого слова, ни единого отдельно выделенного какого-нибудь звука. Такое живое устремление силы и воли я видел впервые и не знаю, в чем тут дело, но, глядя на уносящуюся великолепную пружину эту, ясно помню нехорошее почему-то ощущение жути, тоски. Их было много и, промчавшись неудержимой лавиной, они надолго оставили в придорожном воздухе запах едкого лошадиного пота и тепла. Не думаю, чтоб я был прозорливым ясновидцем и мне были открыты какие-то хоть малые тайны будущего. Совсем нет. Это ощущение настороженности было не только у меня. Здесь многое и разное соединилось в одно - относительно спокойная фронтовая ночь, как бы в отместку за кажущийся покой приводила за собой свежесть и загадку утра, в которое ускользало это живое воплощение силы, красоты и гармонии; близость противника, необычность воинов, затаенная скрытность их передвижения, тишина, приглушенность маневра.

Иное увидели мы днями позже. Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся нагромождения людей и животных.

Запекшиеся черные бурки. Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами. Задранные головы лошадей с лопнувшими главами, на черно-маслянистых лицах воинов жестко торчали из-под лихо заломленных кубанок спаленные чубы волос... Как чудовищные экспонаты жестокости войны, немо вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать - запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами Седлеца сделала свое страшное дело.

Мой сосед от одной сигареты прикуривал новую и только время от времени, не перебивая меня, как бы выдыхая, тихо проговаривал: "Да-да, Иннокентий, дорогой, мы знаем, знаем!.." Никто никогда не смог бы со стороны и близко предположить о взволнованной насыщенности едущих в обычной с виду машине, и она легко уносила по широкой серой ленте дороги двух почти незнакомых, непохожих друг на друга, во многом просто разных, но теперь объединенных этим страшным воспоминанием, одним горем, одной болью людей.

Свободного времени у меня в Союзе не бывает, да я и не особенный охотник экскурсов в прошлое, как бы чрезмерно значимо, необычно оно не было для меня. Все время у меня забирает "сегодня", семья, работа, быт. Если вдруг выдастся свободный день - долго, недоверчиво, искоса встречаю его, предчувствую, что за эти, как с Луны свалившиеся, беззаботные часы отдыха уже завтра надо будет расплачиваться втридорога. А здесь пять-шесть часов свободного времени, за окном машины вставшая из руин, дружественная моей Родине Польша, первая пробивающаяся весенняя зелень и рой нахлынувшего прошлого, как высокая, светлая цена вздоха, света сегодняшнего утра, запаха дешевых сигарет, пульса рядом взволнованного доброго сердца и всего того чуда, что зовется ЖИЗНЬЮ! Прошлое - наши корни, трепетность наших душ, во встрече с ним наше Достоинство и надежды в будущее.

Вспомнились города Тлущь, Валоминек, Радзимин и то, как мы подошли к правобережной Варшаве - Праге. На другой стороне Вислы, где когда-то был город, кипела жизнь, где так щедро проявлялась природа высокой одухотворенности польского народа в музыке, поэзии, архитектуре, живописи, тогда было зловеще пусто, темные остовы домов с провалившимися глазницами окон, смущенные своей непривычной наготой, растерянные группы печных труб, истерзанная строгость костелов - все пронизывали ленивые сквозняки черного, медленно ползущего по этому огромному кладбищу города зловонного

дыма. Туда пришел фашизм - там поселилась смерть.

Не помню, форсировали мы тогда Вислу или как-нибудь прошли ее мимо, стороной. Выдумывать не буду - не хочу. Однако же что-нибудь да осталось бы в памяти сердца от такого события, как форсирование Вислы, если б это происходило с нами, с нашим подразделением, в котором я был, а вот ведь совсем ничего. Надо полагать, "культурные слои" памяти не могут содержать в себе того, чего в них никогда не бывало, естественно, если быть правдивым и откровенным не только к прошлому, но и к самому себе, что порою бывает совсем не просто и не легко. Вот с Варшавой, вернее, с предместьем ее память связывает меня совершенно определенно: что это такое - местность, район ли Варшавы или лес, деревня, хутор, а может быть, по-польски это просто-напросто определенный участок берега Вислы, пляж какой-нибудь - в общем, не знаю, что бы это могло быть, однако память упрямо удерживает название: Непорент, и цепкость эта рождена, разумеется, не самим этим непонятным для меня словом или звукосочетанием, а ясным видением чистого, гладкого поля перед большим и красивым издали лесом и нас, бегущих густой цепью на недруга, засевшего в этом лесу. Злой по плотности и ожесточению артналет поумерил и охладил наше рвение - мы залегли. Идти дальше, когда все так пристреляно, было безрассудно, однако последовала команда, и, вскочив, мы что есть сил продолжили свой бег в сторону леса. Но бежало нас уже не то количество, что было до обстрела. Очередной шквал мин жестко и открыто говорил, что нам так и не удалось выйти из зоны обстрела и этими не скупящимися на мины парнями из рейха руководили с прямого, хорошо нас просматривающего наблюдательного пункта. Вынужденные прижаться к земле, мы распластались на ровной как блюдце местности, и не доползи я до воронки от ранее разорвавшейся мины, думаю, что эту шальную и не оправдавшую себя атаку вспоминал бы уже кто-нибудь другой. Но вот ведь какая недолга: наша столь нерассудочная настойчивость и непреклонность идти только вперед и никуда больше были, как это ни странно, довольно внятно поняты и оценены спрятавшимися в красе леса арийцами, и они, по-прежнему, разумеется, оставаясь представителями "высшей расы", почему-то сбежали.

Голос звучал неспешно, с паузами размышления, и воскресало то, что когда-то обожгло, оставив след в нервах, душе, осело, глубоко надсадив доверчивое чувство юношеского восприятия. Память, пробираясь через толщу времени и нагромождение событий послевоенных лет, была неторопливой, несуетной, и я уже чувствовал, предугадывал, куда выведет мое

такое настроение, если я не остановлюсь! Двор и та польская, со зловещим на русское ухо, немецким названием Домирау (домирать, что ли?) деревня с нескончаемой тоскою ночи среди тел павших товарищей. Нахлынувшее было четко-ярким, даже тяжелым, словно не было никаких сорока лет мирной жизни, волнений ее будней, взлетов в работе, горьких, досадных падений, страшных событий в семье, болей, обычных неудач, даже провалов в работе, о которых у нас почему-то не любят говорить; горя, разочарований, но и встреч с удивительными людьми столь высокими, что, думая о них, легко совмещаю их простую человечность с обожествлением, хоть они и продолжают оставаться самыми простыми людьми; счастья, когда во всех висках стучит радостью вздоха, чуда жизни; словно не было на перепутьях невероятных ошибок, горьких непоправимых утрат, встреч в работе, следовательно в жизни, чудовищ, монстров, гадов и гадюк, наглых лжецов, параноиков, раздираемых тщеславием и оттого пускающихся во все тяжкие, лишь бы не дать заглянуть за хитро выстраиваемые ширмы, за которыми скрывали свою немощную, гадкую, жалкую и никчемную суть и душонку, - а лишь прошлой осенью все это свершилось и теперь легко и просто воссоздается вновь, как под рукой реставратора древней живописи начинает медленно и властно проступать единственное, что имеет право на свет и жизнь - правда, ее оригинал. Все наслоенное временем ушло, смыто, и представшее ошеломляет своей строгой давностью и величием.

Я убежден, что только правда может быть достойным памятником павшим и тому времени, когда так непросто приходилось отстаивать не только жизнь страны, достоинство народа, но и право на свою собственную, в общем-то только начинавшуюся тогда жизнь и, конечно, возможность видеть теперь, по прошествии более сорока лет, эту взволнованную нежность молодой листвы, затаенное ожидание повторной встречи этого зеленого волшебства весны у себя в Москве, и ту душевную щедрость и простое человеческое внимание и тепло, что ожидали нас во Вроцлаве.

Вкратце я поведал ему о той ночи в феврале 44-го. Говорил сдержанно, даже сухо, без игры и эффектов, подсознательно, должно быть, полагаясь на страшную суть того события, что вновь вдруг увиделось с такой поразительной четкостью. Сдержанность рассказа позволила впитывать и окружающее: Ян был настолько ошеломлен услышанным, что долго не курил и только время от времени заведенно тихо приговаривал: "Дорогой... дорогой", и иногда лишь к этому "дорогому" прибавлял: "...ты наш". Водитель машины, чтобы видеть мое лицо, поставил зеркало машины так,

что его удивленные, все переживающие глаза были прямо передо мной, и он, совсем не говоря по-русски, как-то славно мягко, упершись в одно слово, настаивал: "Далшие, далшие" - и ехал тихо, позволяя длинной веренице машин легко обходить нас, сказав, несколько оправдываясь, что надо немного поотстать, чтобы наши два автобуса (я подумал - с большими колесами), нас догнали и в город въехать единым кортежем.

Вскоре пошел пригород Вроцлава и через какое-то время на нас уже надвигались громады его восстановленной красоты и строгость современных архитектурных ансамблей, которые, впрочем, довольны часто уступали место до обидного обычным жилым массивам. Как совместить желание как можно быстрее обеспечить жильем побольше народу с красотой и удобством этого, многими ожидаемого, жилья. Проблема века, и особенно для народов, втянутых в последнюю мировую войну (как прекрасно, однако, могут звучать эти три слова, если придать им их буквальный смысл: "последняя").

Как памятник страшным боям на этом месте и утверждения доброго созидания и жизни нас приняла отливающая белизной и радующая глаз четкостью современных линий новая гостиница, своей строгостью напоминающая гигантскую, белого мрамора плиту.

В нашу насыщенную программу гастролей хозяева поляки решили внести свое разнообразие встречным планом: всевозможных мероприятий, встреч, бесед, посещений памятников, музеев, галерей, соборов, театров, просто прогулок по городу, больших и малых приемов, обедов и чаепитий. И если ко всему этому общему обилию контактов прибавить еще и частный, так сказать, индивидуальный, личный сектор издержек все еще теплящейся (после прошедших когда-то фильмов с моим участием) обычной известности фамилии, сопровождаемой всевозможными разномасштабными интервью, обращениями к читателям "такой-то", а здесь "такой-то" газеты или журнала, встречи в университете или со студентами театральных школ и студий, - то станет понятным, почему каждого последующего поляка или польку, как бы милы лично и общительны они ни были, я встречал более пристальным взглядом, желая, наконец, понять: когда же иссякнет этот прекрасный любознательный и любезный калейдоскоп коммуникабельности, жажды узнать, увидеть, слышать, записать, снять, улыбнуться и уйти. Однако было бы странной бестактностью, неблагодарностью, да и просто неправдой - не скажи я, что все трудности и неудобства буквально потонули в прекрасном, окружившем нас в этих трех польских городах: Вроцлаве, Кракове и Варшаве.

Дни, что легкомысленно предполагал провести в свободной бездумности "ничегонеделанья" - плотно насыщены работой: репетиции, встречи с новыми людьми, а это не всегда просто - нервы (кто ты, что знаменуешь собой, гибок ли ты и серьезен или творчество для тебя лишь парадная лестница и ты в своем неведении не подозреваешь о муках, а порою и отчаянии в работе, о темных лабиринтах поиска; а отсюда - можно ли позволить себе радость быть самим собой в твоем обществе, да и многое, многое другое). И вот после двух недель - мы в Варшаве... Жара не по времени - всех разморило, разомлевшие, с открытыми ртами, сидим на пресс-конференции; душно, помещение низкое. Некоторые подхватывают воздух: в глазах мельтешат самодельные опахала из блокнотов, листов бумаги. Господствует вялость, вопросы инертны, порой избиты, подстать ответам. У многих безразлично отсутствующий вид. У входной двери здоровый кинооператор с готовой камерой на плече что-то нашептывает миловидной девушке рядом, по всему видно - снимать не будет, не собирается, не видит достойного объекта; с удивлением нахожу в себе право порицать, брюзжать про себя: "Ну что же ты, голубчик, специализируешься больше на перешептывании, ведь мог бы и снять..." Неожиданно... захотелось вдруг встретиться взглядом с его подругой, из зависти, наверное: он шепчет, а на меня даже взгляд никто не бросит. О, невероятно, телепатия все-таки есть. Она посмотрела на меня... но как-то странно, вроде я - стеклянный и способствую собою лучшему рассмотрению того, что за мною. Я попробовал улыбнуться... Никакого впечатления. Ага, понятно, сейчас начнет демонстративно зевать... вот еще мгновение и... Оказывается, она меня действительно не видит, хоть и продолжает смотреть мне в переносицу. Впрочем, иногда я тоже так поступаю, особенно когда хочу произвести впечатление, показаться одухотворенным, оторванным от быта, мелких дрязг и всяких там перешептываний. "Очень-очень непрост и сколько загадок уставился, знаете, мне в глаза, а сам далеко-далеко; вот откуда и актер такой - личность, индивидуальность". А я в это время мучительно соображаю: как бы потоньше выйти из этой уже порядком самому надоевшей самодеятельности? Иногда получается, порою не очень - разоблачают. Бывает стыдно. Не хочу упрекать, но пресс-конференция прошла "никак", повеяло скукотой "мероприятия" - казенно, пресно и это при таком-то скоплении творческого люда, полного чутья времени, его пульса, повышенных ритмов жизни, знаний психологии; властителей человеческих дум и душ; глубоких ценителей истинной простоты и поклонников высокого изыска; ревностных стражей старины, добрых традиций и

восторженных поборников новизны и поиска. Все были тут - собрались истоки вдохновения Польши, ее одухотворенная стать, нерв, ум, а все склонялось к обычной сухой информации. Ну а где же тоже обычные, но мироощущения "сегодня", так необходимые в любом творчестве, где устремления и надежды в "завтра", где человеческий, личностный фактор, наконец, - основа основ всех областей человеческой деятельности? Ничего этого, как и многого другого, не было - было скучно, вяло и до испарины душно.

Красивая, но уже немолодая женщина (в Польше ни тем ни другим не удивишь) перед завершением встречи, отыскав меня за спинами моих представительных товарищей в президиуме, куда я спрятался в надежде предупредить возможность излишне повышенного интереса к моему творческому "я", пожелала познакомить читателей своей газеты с тем, "как чувствует себя "звезда" в окружении прекрасных актеров?" Вопрос этот, хоть и носил в себе некую дамскую заумь, был, по существу, едва ли не единственным стоящим вопросом, во всяком случае, позволял театру остаться средоточием человеческих индивидуальностей. Правда, столь барьерное сопоставление не исключало впоследствии скрытых теперь подводных рифов, так характерных для творческих коллективов. Однако наш театр, к счастью, избежал склок и пересудов, и вопрос приняли много легче, чем я сейчас о нем пишу. Вооружившись образной терминологией корреспондентки и немало смущаясь, что приходится говорить не о творчестве, а об иерархических положениях, ответил: "Хорошо! Мне кажется, что я занял свое рабочее место в этом нечастом созвездии и, если говорить серьезно, то многое, вернее, основное в "свечении звезды" происходило в прошлом, однако совсем неверным было бы предполагать и полное "затухание этой светилы"; как в том так и в другом легко можно было бы убедиться, посетив спектакли". Я сказал то, что было на самом деле, однако это восприняли проявлением скромности и такта. Ничего этого можно было бы и не писать - не произойди того, что опрокинулось на меня через минуту.

Спокойно, вместе со всеми я выходил на "свежий воздух", и вот тут-то в более просторном и высоком, чем пресс-зал, вестибюле на меня вдруг обрушились жаждущие спрашивать, знать, снимать, брать интервью, просто беседовать, писать диалоги для радио, телевидения, газет, журналов, каких-то программ, общежитий и студенческих аудиторий. Их было человек двенадцать-пятнадцать, однако напор оказался значительно большим, чем можно было бы предположить от такого, в общем, небольшого количества интеллигентных и

воспитанных людей. Они давили - и создавалось впечатление, что их пассивность на пресс-конференции была лишь отдыхом перед стартом, проверкой силы, желанием сосредоточиться для этого объединенного броска, где если уж давить, то давить наверняка. Признаюсь, промелькнула спасительная мысль, что все это хорошо организованный розыгрыш, этакий праздничный карнавал-капустник, встреча приехавших из дружественной страны; и я уже готов был бить в ладоши - как все это славно, мило и хорошо, когда увидел вдруг, что кто-то, проявив инициативу, составляет расписание нашей работы на три дня вперед (не считая этого) из всех семи дней в Варшаве - вот тут-то мне стало немножечко не по себе. И какие-то муравьи и мурашки пробежали по всему телу моему. Вспомнилась жена, мягко говорящая мне перед отъездом: "Вот там-то ты и отдохнешь!" - я улыбнулся ясновидению моей жены, улыбку приняли за полное, "любезное" согласие и готовность ринуться в работу тотчас... во все семь дней, по этому поводу было общее восклицание восторга и... колесо закрутилось... и я вышел из того высокого помещения четырьмя часами позже. Уже ночью, с холодной тряпкой на лбу, у себя в номере, я перебирал в мыслях все "объективные причины", изложив которые я мог бы свободно уйти от любой "засады", но они так мило ссорились между собой, борясь за каждые десять-пятнадцать минут моего времени, и кто где меня схватит, потащит в свою машину, такси, и где потом перебросит туда-то, где пути двадцать минут, за которые тот-то успеет разделаться со мной в машине и спровадит Тадеушу, а уж здесь-то, после него, ты его не выпустишь и т. д. Слова, правда, произносились несколько иные - хорошие, милые слова, но суть их была именно такой! И когда они все это произносили, то они не очень-то и смотрели на меня. И вот уже четвертый день я только и делаю, что отвечаю на вопросы, беседую, улыбаюсь в телекамеры, переезжаю из одного конца города в другой, а в это время улыбаюсь, пересаживаюсь из машины в какую-то подвальную камеру... чистую, темную, но воздуха нет; оказывается - это лифт. Едем на крышу, просто улыбаюсь; поднялись, света и солнца столько, что после трех дней работы в закрытых помещениях с корреспондентами не могу открыто смотреть, но улыбаюсь, но не просто, а с какой-то гримасой; странно простота куда-то ушла и получается, что все мне надоели и я недоволен, а вот, право же, я счастлив и все еще на ногах и... улыбаюсь. А в одном месте даже захохотал, и дело вот в чем: все материалы этих встреч нужно было сопроводить фотографиями, и, по мере того как иссякал запас вопросов в одном корреспонденте, мы вместе с ним или с его фотографом, а то и все вместе, выбегали на более светлое

место или вообще из помещения, делали пять-шесть снимков и бежали обратно к терпеливо ожидавшим представителям других каких-то изданий, и... "танцы продолжались" до следующего броска, сниматься - улыбаться. Не знаю, что тому причиной: жара ли, спешка, или засветило негатив, но в одной из молодежных газет, которая предоставила целую полосу для моего интервью, озаглавленного "Меня сделала жена", поместили фотографию... я много дольше, чем она того заслуживает, рассматривал ее. Ну что можно сказать!? Существует, как мне кажется, какой-то специальный способ печати фотографий военных преступников, просто убийц и всяких там маньяков, параноиков... так вот... я, правда, не могу сказать, что вместо моего лица там поместили кого-нибудь из вышеперечисленных, но очень-очень похоже. И как это получилось, и что это такое - право, не знаю. И парень тот, что снимал, был довольно мил, скромен и чист лицом. У него тоже что-нибудь заело, наверное, бывает такая полоса заеданий, вот тогда-то я и хохотал. Зато не могу не похвастаться, не поделиться радостью: все эти маленькие оплошности и курьезы с лихвой оправдались фотографиями прекрасного художника Машейя Мусиала. Это он был вместе с нами в той деревне под Торунем, и я счастлив знакомству и благодарен ему за его работу.

Порою вместе с моим режиссером Олегом Николаевичем Ефремовым я имею честь представлять Художественный театр, и иногда он просит даже выступить меня. Правда, просьбы эти в последнее время угрожающе сократились, свелись едва ли не к нулю, но тем не менее нет-нет да и промелькнет милость. Как правило Олег Николаевич дает мне слово, когда сам очень утомлен чем-нибудь, или в том случае, когда в него вселяется вдруг какое-то совершенно безудержное озорство: вскрыть, например, во встрече никем до сих пор не предполагаемые темы и всякие такие неожиданные отношения к ним. И все это не оттого, что я обладаю каким-то там даром парадоксального мышления или уж очень самобытного взгляда на вещи - ничего такого и в помине нет, а просто это такой своеобразный розыгрыш-вызов: "вот вы все здесь говорите и то и се, и пятое и десятое - прекрасно, а у нас есть такое, например, и ничего живем!" И вот не знаю, может быть он и прав, во всяком случае после некоторых моих выступлений прийти и к такому умозаключению можно, я думаю, и все это совсем не оттого, что я не в состоянии связать воедино больше двух слов или вообще мне нечего сказать - совсем нет. Дело в другом: эти просьбы моего начальника бывают ошарашивающе-неожиданными, спонтанными настолько, что своей внезапностью они будят во мне сразу много больше, чем того требует та или иная поднятая тема - здесь и

ассоциативный ряд, и образный, а там, глядишь, ни с того ни с сего шекспировскаая метафора вскочила в злобу дня, хотя совершенно для того не подходит и не нужна вовсе; юмор уступает место хорошо бы, иронии, так нет же! - какому-то сарказму, который вдруг тараном прет там, где ни того ни другого вообще не должно было быть, сиюминутность происходящего вдруг шарахается в глубины изжитых традиций, здравый смысл, перепуганный всем этим нахлынувшим богатством с несуразностью забивается невесть куда, и выяснить в конце концов, что к чему и о чем, не представляется возможным. В данном случае все шло именно к такому откровению. Карточка с моей фамилией оказалась в центре огромного стола буквой "П" рядом с хозяином приема - большим, красивым, не по возрасту рано поседевшим человеком, заместителем министра культуры Польши Юрием Байдором. Само по себе это замечательно, однако место в центре и сам представительный сосед создавали некоторое напряжение, хотя бы потому, что, сидя рядом, нужно было делать вид, что я тоже не случайно сюда забрался и знаю, что почем и что к чему (я должен чистосердечно признаться - ничего ни в чем таком я не петрю напрочь). В общем, речи о раскрепощенности или отдыхе не могло и быть. Открыв вечер, министр приветствовал нас, отдав должное нашему искусству и вообще был прост и демократичен. Мой сосед по левую сторону, работник ЦК Польской рабочей партии, говорил тоже прекрасно, его небольшая речь о мире, дружбе и радости видеть нас была жива и человечна, и после нее был естественным звон хрусталя, проникновенно серьезные лица и даже минута доброй тишины. После нее плотный сигаретный дым заволок стол, голоса стали громче, желающих слушать - меньше, смех, реплики, разговоры, стук ножей, вилок, шутки. Министр, обратившись ко мне, заговорил о нашем общем знакомом, Балицком из Вроцлава, и обычное упоминание о нем сняло все напряжение, поселив меж нами свободное общение и легкость.

С этого момента можно было бы начать отдыхать, если бы не одно подтачивающее меня беспокойство - с польской стороны уже сказал третий человек, а мы все молчим и молчим. Конечно, молчание - знак согласия, это знают все, однако же согласие может оставаться этим добрым знаком взаимопонимания, если молчание длится в разумных пределах ранее сказанного, а то ведь ненароком можно и забыть, с чем это, собственно, ты был согласен позавчера. Вот это-то и угнетало меня, и я тратил массу сил, чтобы ни в коем случае не посмотреть на Олега Николаевича, боясь смутить его своими напряженно вытаращенными глазами. Но в конце обессилев, должно быть, уж

точно не помню, как там все происходило, я вдруг увидел Олега Николаевича, проникновенно так смотрящего на меня, вроде посылающего импульс: "Ну, что же ты, голубчик, так долго принуждаешь себя не глядеть в мою сторону, это не по-товарищески, да и ответить бы пора, а ты все глаз не кажешь, вроде у тебя и мысли не было, чтоб и с нашей стороны прозвучало что-нибудь стоящее, а?" и он в досаде развел руками, а осанкой и лицом изобразил, как умно, тонко и достойно все должно прозвучать и выглядеть сейчас в моем исполнении. Я взмок! Лихорадочно соображаю, что же, собственно, говорить? Олег Николаевич опять попал в поле моего зрения и показалось, что он и не отводил своего давящего взгляда от меня. На этот раз жестом Цезаря он указал, дескать: "Трибуна ждет - она свободна! Мы благоговейно слушаем тебя!" - и застыл в слащавом умилении тем, что я еще только собирался придумывать. Совершенно не представляя, куда меня швырнет и какие будут словеса, и теперь уже подгоняемый этим его взглядом, я вдруг услышал свой голос, обращенный к министру:

- Можно, я скажу?

- Нужно, товарищ Смоктуновский! - И он стал постукивать ножом по фужеру.

Вот здесь-то и пошел тот наворот. "Любезностью их не удивишь, - неслось во мне калейдоскопом, - и вообще нужно ли удивлять? Ну, в общем-то, неплохо бы, но как? Поблагодарю за внимание и доброту, однако это-то уж совсем не мое дело - что я, директор, начальник, главный режиссер?.. Скажу лучше, какое у них прекрасное искусство... нет, тоже не годится, это значит опять возвращаться к тому чуду вдохновения театра пантомимы, руководимому удивительным художником Генрихом Томашевским во Вроцлаве, и двум замечательным, одному просто прекрасному, спектаклям в Кракове, поставленным их молодым главным режиссером, но я так много и подробно говорил в моих бесчисленных интервью об этих спектаклях, что у слушающих может создаться впечатление, что ничего другого я теперь и смотреть-то не хочу и не буду, тем более что в Варшаве мне действительно не удалось еще ничего поглядеть я все еще работаю с той оравой корреспондентов. Вот, может быть, о том сказать, что уж очень велик интерес прессы и она набросилась... нет, лучше это подать в радостных, здоровых тонах: "Я счастлив, что меня чуть не раздавили... нет, это тоже что-то не туда, нет. Напомню им, что все они милые, славные люди... Но это и так видно без всяких высказываний, что об этом талдычить, к тому же подобная позиция не безопасна - могут счесть подхалимажем... И потом, кто тебе сказал, что все милы и хороши... ничего

неизвестно: здесь - да, за таким столом попробуй-ка быть плохим - во понаставили сколько вод и сколько вин - тьма! Нет, начну с того, как прекрасна жизнь (и не беда, что они знают это не хуже меня) и как здорово придумал кто-то: поутру, когда все еще спят, вдруг с улицы, на которой стоит наша гостиница, тарарахнуло во сто литавр и барабанов, и медь труб, взревев бизонов стадом, подняла в то воскресное утро всех живущих в отеле. Повскакав с постелей, они долго стояли у окон, худо соображая: что это за громкоголосое веселье спозаранку и, придя в себя, наконец, любовались тысячью молодых, стройных поляков в военной форме, которые под ту же неусыпно бравурную музыку проделали весь тот путь в обратном направлении, и что все это просто замечательно, хотя бы по одному тому, что спать весною долго небезвредно - развивается авитаминоз, - это все знают и спорить никто не будет... однако скажи я об этом - могут как-нибудь не так понять. И еще много было всяких разных соображений, мыслей и взглядов. Когда излагаешь их, запершись в своей комнате дома и спокойно, по порядку, - это все выглядит убедительно, достойно и не так уж глупо, но если на тебя уставилось множество глаз, причем смотрят так, словно ты только что сказал, что это ты выдумал водопровод и таблицу Менделеева, - вот тут-то и попляшешь, голова кругом, мыслей много, но они как-то все прыгают и скачут, словно у них там своя олимпиада; а глаза Олега Николаевича уже просто кричат: "Ну что ты, Диоген, вылезешь ты из своей бочки, наконец, или нет?" - не сразу сообразишь что к чему, с какой полочки хватать! Тут нужны: воля, сдержанность, самодисциплина, стойкость - железо! Однако покой, расположенность нашего хозяина и добрая минута пришедшей простоты уберегли от болтовни, глупого оригинальничания. Все было скромно, достойно, настолько серьезно, что я сам был немало удивлен, и даже хотел в конце речи признаться, что сегодня я говорю на редкость ладно и что это они своим приемом подвигнули меня на этот шаг разума и покоя, но потом сообразил, что делать этого не следует - пусть думают, что я всегда такой умный!

- Иннокентий Михайлович, - обратился ко мне министр, - с вами как-то не связывается пережитое вами на войне. Ваше интервью в "Новостях" невероятно! - И он на память перечислил почти все города в Польше, в освобождении которых я принимал участие в 44-45 годах и которые упоминал в своем телевыступлении накануне. - Вы, должно быть, светлый человек, продолжал он, - но вчера в одном каком-то моменте до настороженности, до боли видно было, какой след оставила в вас деревня где-то под Торунем, кажется. Почему бы вам не съездить

туда?

Настроение удавшегося выступления не устояло перед этим внезапным вторжением: я весь обмяк и даже однозначно ответить сразу не мог. В мыслях я не раз бывал у тех двух амбаров, на краю деревни; порою они виделись мне, но теперь, когда возникла реальная возможность быть там, видеть их - стало вдруг как-то душно. Я сидел и переживал вдруг поднявшийся внутри гул. Сорок лет, сорок длинных лет не смогли зарубцевать забвением происшедшего той ночью. Юрий Байдор - так звали моего представительного соседа - мягко смотрел, должно быть видел, что мне непросто, не подгонял с ответом.

- Страшно! - Единственное, что удалось, оттаяв, произнести.

Помолчали опять.

- Это не трудно будет организовать?

- Ничего нет проще. Съездите, телевидение туда с вами пошлем, - надо, чтоб такое знали.

- Простите, возражу: если можно, не посылайте телевидения - неизвестно, как буду чувствовать себя там, как поведу; то место для меня не частое, одно... и как оно аукнется теперь, через сорок лет - одному Богу известно...

- О-о, понимаю, как скажете, так и будет.

Эта фраза, этот человек, с его тактом и вниманием, "повинен" в появлении этих воспоминаний - спасибо ему! Мы с ним больше не увиделись: по истечении наших гастролей в Польше я вернулся в Союз, но он, не оставляя своей идеи с телевидением, через своих помощников (которые так трогательно провожали меня в аэропорту) просил набросать небольшой сценарий событий тех далеких лет в той деревне, и я, прикинув, что для 10-12 страниц текста мне достаточно будет месяца работы, пообещал через месяц, самое большее полтора, прислать готовое воспоминание в сценарном изложении. Но вот прошло уже полтора года, а я все никак не могу завершить начатого. Я никак не предполагал, что это все так сложно! И оказывается - стоит копнуть, разворошить, и память раскрывает щедро свои запылившиеся тайники и закоулки. Но и с ними я бы справился, пожалуй, и едва ли не в обещанный срок... но здесь вдруг основная моя работа пошла таким валом, что мне не хватало не только времени, чтоб одолеть ее, но я просто выбивался из сил, чтоб хоть как-то привести ее в обычную человеческую норму.

И вот все покатилось, набирая ритм и взволнованность. На мне сходились нити доброго десятка людей, вовлеченных в инерцию разматывающегося сорокалетнего воспоминания, - все крутилось, неслось и развивалось с таким напором, организационным рвением, что не оставляло никаких сомнений,

что раньше все они тем или иным путем были связаны с прессой! То и дело приходилось прерывать тот, казалось, нескончаемый вал интервью и опять и снова снабжать участников поисков дополнительными данными о деревне, бегая теперь уже только к телефону. Все мои старания самому связаться с Яном, дозвониться до него оставались бесплодны. Его телефон был нем. Горничная по этажу и администратор гостиницы пожимали плечами: "Был и вчера, полдня говорил по телефону и даже обедал в номере, а вот потом - не знаем... не видели... должно быть, уехал, однако номер числится за ним... появится!" С более-менее размеренной рабочей жизнью артиста российского театра, приехавшего в Польщу с творческим отчетом, было блистательно покончено. Но даже в этой сгустившейся вокруг меня атмосфере совместная работа с польской прессой все еще продолжала катить, но уже не столь благостно и уютно. Ограниченность во времени, несколько повышенный организационный пыл и сама необычность поиска не замедлили сказаться: двумя днями позже в шумном вестибюле гостиницы, увидев меня издали, Ян, что-то быстро проговорив Андрею, пошел мне навстречу.

- Иннокентий... Вы не могли бы уделить нам несколько минут?

Неприятно кольнуло и насторожило, что после моего имени Ян не сказал уже ставшее эпитетом в обращении его ко мне слово "дорогой" ("Как мы быстро привыкаем к балующему, а порою и развращающему нас!" - пронеслось во мне).

- О, конечно... дорогой... сейчас я свободен.

- Прекрасно!

Однако дальше все происходило совсем не так прекрасно, как можно было ожидать по реплике Яна. И общаться я должен был не с ним, оказывается, а с Андреем, с которым я был уже знаком. Мое приветствие Андрей не заметил, сосредоточенно орудуя с огромной, как клеенка, уложенной в ровные квадраты картой Польши. Сам он был какой-то потухший, несвежий, а по непривычной на его лице небритости и мятой на спине куртке нетрудно было догадаться, что ночь он провел в машине. Андрей - один из тех прекрасных, гибких, в высшей степени серьезных людей, которые окружали нас в Польше своей теплотой, сердечностью. Но сейчас я даже подумал, что это вовсе и не он, а другой, похожий на него человек. Однако это был Андрей. Всегда тонок, общителен, остроумен, мил, несмотря на некоторую наметившуюся полноту изящен, подвижен. По-русски говорил превосходно, вызывая наше постоянное восхищение легкой демонстрацией той дополнительной прелести, красоты нашего языка в обычных бытовых разговорах, которая под силу

лишь иностранцам. Ни разу еще не взглянув в мою сторону, сухо, без всяких предисловий он начал:

- Я сожалею... однако некоторые детали требуют уточнений. Этот несуразно огромный лист бумаги, - он легко кивнул на лежащую перед ним карту, - не позволит ничему ускользнуть от нашего недремлющего глаза, каждому укажет ху из ху и все поставит на места!

Ян упорно молчал. Промелькнуло ощущение дискомфортности, но лишь промелькнуло, и я все еще пребывал в состоянии обласканного идиота и не мог взять в толк, что, собственно, уже происходило.

- Это прекрасная, горячо мною любимая страна Польша. Не думаю, что природа этой, как говорят в Союзе, "простыни" была результатом комплекса малого народа, отнюдь нет, но у стороннего наблюдателя появление парадоксального восприятия этой данности правомочно: карта - огромна, страна - небольшая. От этого, однако, она не становится менее дорогой, свободной страной с прекрасным, достойным народом... - Я знал, что следующей фразой будет: "...к которому и я имею честь принадлежать", но ничего такого он не сказал. Как показалось, он настраивался на долгую речь (может быть, опять ошибаюсь) и в досаде, должно быть, на самого себя (выискивать в людях слабые стороны их характеров), дождавшись небольшого люфта в его выступлении, я мягко предложил подняться ко мне в номер, где нам будет много удобнее на большом столе и с картой управиться, и всякие разговоры разговаривать. Совсем того не желая, я, должно быть, упрекнул его в обилии словес, во всяком случае он понял так и вот здесь-то было неуютно, чтобы не сказать острее. Он угрожающе замолк и казалось, что он борется с собой: "Оставить все это, швырнуть карту прочь, встать - и уйти!!!"

- Андрей... - грустно вздохнул Ян.

- Хорошо, я продолжу... - В неоконченной фразе его, действительно прозвучало, как близко к концу было его терпение.

Он еще какое-то время молчал, чем без всякого видимого труда завершил возведение Китайской стены между нами.

Это сейчас я пишу об этом уже, зная, что двигало им и его настроением, но представьте мое недоумение и смятение тогда! Были едва ли не дружны, и я знаю, что ничем никогда не подавал не только поводов, но и мысли к тому, чтобы отношения наши столь непонятно изменились вдруг?! И я...

На прозрачно-ясном глазу повторил свое предложение об удобствах моего номера для предстоящего разговора.

- Нет! - отрезал мой польский друг, и я понял, что я его совсем не знал. Хорошо еще, что, почувствовав холод

остывающего вокруг меня мира, я сообразил все же, что теперь мне лучше всего помолчать. Но, уткнувшись в пеструю зелень карты, я никак не мог припомнить: "Где и что я сделал не так?" Андрей продолжал и по тому, как он говорил, а главное, смотрел - я понял, что замолк я очень вовремя, даже, я думаю, можно было бы немножечко и раньше!

Острие его карандаша, четко опускаясь, фиксировало в разных местах карты населенные пункты.

- Вот Доброва, вот Даброва, вот еще здесь... - И он замялся, очевидно дальше должно было следовать прямое либо косвенное обращение, вроде "...как вы видите" или "...вы уже, должно быть, успели заметить", с тем чтобы остановить мое внимание на определенном факте, но обращение это так и не было произнесено вслух, а лишь осело сожалением, что в разговоре-де, мол, он вынужден себя ограничивать.

- ...Недостатка в деревнях с подобными схожими названиями нет!

Боясь, что явная ошибка в названии может повести поиск по ложному пути и догадка, что не эта ли досадная опечатка явилась причиной перемены ко мне людей, как только мог мягко проговорил:

- Та деревня была Домбровка, - так же робко выделяя букву "м". Я напугался, что он собирается уходить, однако, порывшись в сумке и достав блокнот, Андрей со всей мощью университетских знаний стал объяснять, как и почему со времен королевы Домбровы (то есть с того легкомысленного времени, когда так просто и бесхозяйственно направо и налево раздавали имя королевы любой, какая не подвернется под руку, деревушке) не только в названии деревень, но и в грамматике польского языка в подобного рода словообразовании исчезла эта буква "м". Андрей что-то такое еще говорил о хуторах и фольварках у лесных дубрав, которые просто сами нахватали себе названий, схожих по звучанию с именем королевы Домбровы. Не очень уже соображая что к чему - да и в школе-то по русскому, своему родному языку знания давались мне так, что время от времени требовали прихода моих родителей к учителю, - я поэтому, вроде соглашаясь со всем, что слышал, молча кивал головой, как если бы вслух говорил: "Ну как славно все это у вас происходило со времен королевств!"

- ...Несмотря на обилие деревень со схожими названиями, нет ни одной, где бы было захоронение 120-150 человек, о чем было заявлено на одной из предварительных встреч "в верхах". Взывать же к добропорядочности, просить напрячь память - при отрезке времени в сорок лет едва ли разумно, бестактно, нелепо, да и

бесплодно. События недельной давности мы склонны трактовать, как подсказывает минута, которой мы живем сейчас. Это естественно: мы живы и все человеческое нам не чуждо, многое за этот гигантский срок наслоилось, что-то, наоборот, безвозвратно ушло. Впрочем, это всего лишь фактологический взгляд на суть вещей и событий, что же касается эмоционального ряда - то многое, казавшееся нам важным и волновавшее нас вчера, сегодня может восприниматься как курьез, нелепица. Я говорю известные вещи, однако банальность их подтверждается жизнью.

Он помолчал немного.

- Но это, - продолжал он, - сколько бы времени ни ушло, воспринимается всегда однозначно... это обозначение захоронений жертв второй мировой войны. Замеченные неудобства в подготовке карты к работе с лихвой окупаются ее объективной подробностью. Черный памятничек - условное обозначение этих скорбных мест - поляки помнят и чтут своих освободителей, рядом цифра люди; каждая единица - человек. Пойдем по этому страшному столбцу.

Острие карандаша медленно, не останавливаясь плыло над цифрами снизу вверх. Цифры, цифры, цифры... нескончаемая тропа прерванных судеб, несостоявшихся надежд... но сколько же там, на великих просторах, осиротело, оставшись одинокими, сколько горя, слез, мучений, исковерканных жизней! Карандаш все плыл, плыл... Бесконечный шлейф цифр. В глазах рябило, и я уже плохо слышал, да и он, видя, что я не поднимая головы, рывками подхватываю воздух, кажется, вскоре умолк. Передо мной на столике оказался стакан воды, и Ян - я узнал его по широкой руке - протянул сигареты. Все наши обиды, ложно понятые чувства достоинства, не сдержанные выявления своих характеров и все "проблемы" наши, неприятности и неувязки показались такими меленькими, ничтожными, ненужно лишними. Эта его неприязнь и мое недоумение напрочь ушли - мне было легко смотреть, понимать и отвечать.

- Сколько ни говори себе, что нужно владеть собой, к сожалению, это не всегда бывает в нашей власти, Андрей... Вы правы, я действительно перепутал что-нибудь... я их не считал, но все так врезалось в память, точно... к несчастью, в той деревне их было много. - Что-то очень важное вертелось, было совсем рядом, но что именно - за взволнованностью осознать не мог. - Ну да ладно, может быть, это сейчас и не ко времени... осталось два дня... к тому же ни в одном населенном пункте, которые мне сейчас удалось засечь, нет железной дороги, а она проходила по окраине там и поодаль вдоль деревушки... но сейчас это уже действительно не имеет значения. Понимаете, Андрей, мы бежали

через нее... Через насыпь, ее-то уж я никак не мог придумать или присочинить лишнюю, ну, тогда их было бы две, а у вас я не видел ни одной, в общем, Бог с ней, забудем.

Не то он ожидал, что я буду спорить, возражать, настаивать, сердиться, не то этот долгий столбец цифр своей страшной суммарностью, как и во мне, перевернул все в нем, но взгляд его говорил, что он вернулся к тому славному, тонкому, умному, доброму человеку Андрею, но все еще был неловко потерян и явно не знал: "как же дальше-то теперь?" А может быть, все это казалось мне!

Сутки спустя по-утреннему тревожно поднял меня с постели настойчивый звонок: голос срывался с нормальных обертонов, перебрасывался на неустойчивые верха, где-то (как слышалось - далеко), натужно кашляя, пытались восстановить его, но он не давался, неуправляемо вырываясь в рваную хрипоту:

- Иннокентий, дорогой... нашли, нашли!

- Простите, это кто? Ян, вы?

- Нашли сто двадцать человек ровно, Иннокентий, и двор, я только что оттуда, в пятистах метрах. Иннокентий!

- Это вы, Ян?

- Что? А-а, нет - это Андрей... - Я по-прежнему не узнавал его голос, давили хрипы или внезапно ворвавшийся фальцет сердил владельца, понуждая бороться с побочными писками и, должно быть, с болью, и опять взволнованно вырывался крик: - Иннокентий, их эксгумировали, вывезли здесь недалеко... двадцать один километр... в братскую могилу!

- Сто двадцать, говорите... невероятно! Есть от чего сойти с ума!

- Да-да, Иннокентий, да, простите великодушно... вчерашний выпад... Ян убедил меня ехать в эту деревню с железной дорогой... я связывался с ними раньше по телефону, отвечали - захоронений нет, и ни слова о том, что были это все и осложнило.

- Андрей, все кончено хорошо, спасибо вам, но послезавтра вылет в Москву... слишком поздно я спохватился и вас всех загнал...

- Нет-нет, Ян устроит все до продления визы - он замечательный организатор и редкий человек, да и я в одиннадцать - в двенадцать буду в Варшаве и сразу к министру, они все расположены к вам... все устроим. Простите ранний звонок, но уж очень хотелось не оставлять вас долее в обществе дурных мыслей... Мы не так плохи, как выглядим порою... вот видите, даже одно из ваших любимых слов оказалось. Только вы забудьте, пожалуйста, это наше чудовищное непонимание вчера... Обещаете? Взамен получаете добрую дюжину обожаемых вами

слов, из одного этого можете заключить, что вас ценят - слова действительно прекрасны и, если позволите, они будут и моими...Обещаете?

- Что, собственно я должен обещать?

- Не валяйте дурака, Иннокентий Михайлович, обещаете забыть?

- Не могу Андрей... хотя бы по одному тому, что ничего не затаивал. И совсем не помню никакого зла, да его и не было.

- Чудно... слышите, это тоже ваше. Раз!

- Вы что же, действительно собираетесь считать?

- Ни в коем разе... Вот ведь... было - хоть пруд пруди, а когда нужно, так разбежались... Ну, во-первых, это ваше доброе ругательство: "о негодяй, о мерзавец, - ударил он по-моему второе "е". - Затем, что же... ага "удивительно, однако"; ну, естественно, это ваше замечательное "за-а-аме-е-ечательно". О, вспомнил, даже целыми фразами: "Ну да, как же, держи карман шире"; ну, разумеется: "чудно, чудесно, чудо-о-овищно", - это вы говорите почему-то вместе, но звучит этот абсурд удивительно, видите уже просто говорю вашей лексикой. Что же еще... да-а... это, простите, тоже какая-то чушь, но весьма своеобразная: "ядрена курочка, прогоркла вошь", хоть я совершенно отказываюсь понимать эту абракадабру и никогда не смогу представить себе, как вы, неплохой, в общем, актер, интеллигентный человек, могли позволить себе пробовать на вкус какую-то прогорклую вошь, когда при желании можно отыскать свежую и действительно ядреную курочку.

Я хохотал.

- О, чуть не забыл самое главное: "ну как славно!", однако вы прибегаете к этому восклицанию, когда совсем не так уж славно, как вам бы того хотелось, а? Сознайтесь, Иннокентий - я поймал вас, а? Поймал?

- Да, да, да - поймали. О негодяй, о мерзавец!

С обеих сторон разорванного расстоянием утреннего разговора - хохот, шутка, добрая глупость. Говорили братья. Сон прошел, было чудно, чудесно... и немного чудовищно.

Опять машина и все тот же водитель предупредительно и достойно придерживает дверцы открытыми, пока мы рассаживаемся. Казалось, ничто не может заставить его быть иным, однако в это путешествие он удивил всех своей доселе никому не известной особенностью. Ян, как всегда, спокоен, прост и ненавязчив настолько, что я даже испуганно скользнул взглядом в его сторону: здесь ли он? Уставясь в точку, Ян неотрывно смотрел в окно, и мысли его были не здесь. Хотелось отвлечь, пробудить его от этой задумчивости, но и сам был

несколько не в себе и промолчал. Дорога предстояла дальняя не только в пространстве-расстоянии, но и во времени. Молчали все, и я, как первопричина, вина этого вояжа, мог бы испытывать неловкость от этого молчания, но такого не было - все устали от сутолоки двухнедельного людского потока и дел и теперь, свободно и легко отключившись, отдыхали каждый сам в себе. На переднем сидении, справа от водителя, легким перышком зависла переводчица пани Ванда, милая, интеллигентная женщина, равно легко, изящно и подвижно говорившая как на польском, так и на русском языках, - я так и не понял, который из них ее родной. Ее присутствие и являло собой вето на попытку закурить, во всяком случае я не помню, чтобы были какие-то предварительные слова и увещания. Как порою мы умеем уговорить себя, что мы ну просто никак не можем без "этого", а теперь вот и без "того". Вот живой пример противоположного - едем мы уже довольно давно, и Ян стоически ни разу не заикнулся о желании закурить. Но вот с водителем сегодня явно что-то происходило - казалось, он не только не мог, но просто не хотел скрывать своей полной радости глубоко вдыхать свежий воздух. Уж не знаю, что тут: привычка или желание похорохориться перед соседкой, но он действительно глубоко и шумно дышал; я и прежде отметил эти его наклонности, но раньше он сдерживал этот грохот, боясь, должно быть, помешать моему рассказу. Сегодня же в тишине эти воздушные циклоны управлялись им с таким невинным видом, что пани Ванда, несколько раз испуганно оглянувшись на него, наконец прощебетала:

- Вы, дорогой мой, дай вам Бог здоровья, сопите и пыхтите, как паровая машина на первых ее испытаниях.

Нимало не смутясь, тот живо и мило ответил:

- Вы присутствовали при ее испытании? Расскажите, как это происходило?

- Вы что... грубиян вы этакий, колода неотесанная, разумеется - нет, все подробно мне рассказала моя бабушка и она не так стара, как вы, вероятно, хотели бы предположить - ей всего-то каких-нибудь семьдесят пять семьдесят шесть лет.

- Вы что же, с бабушкой близнецы, что ли?

- Бревно, сундук, дубина и оглобля! - пищала пани Ванда, изобразив плачущую мордочку, и колотила кулачками в утес его плеча.

Машина как шла - так и продолжала идти. Мужчина склонил голову к мельтешащим кистям рук женщины, та не отняла их, и он нежно прикоснулся к ним губами, выдохнув: "Пани Ванда..." Маленький спектакль был окончен - он развлекал нас ровно столько, сколько продолжался. И опять каждый ушел в свои

мысли. Глядя со спины на водителя, я еще и еще убеждался, что совсем не разбираюсь в людях. Все мои наблюдения остановились бы на: прост, несколько замкнут, предупредителен, иногда старается держать какую-то (какую??) дистанцию, но в силу положения обслуживающего, это не всегда удается, и его безразличную реакцию на эти его неудачи относил к недалекости, едва ли не к примитиву... а вот ведь - юмор, нежность, галантность, ум, такт и безусловное достоинство. Вот и возьми его за рупь за двадцать! Надо будет как-то попросить у него прощения. И только я успел это подумать, как он поворачивается и говорит:

- Если будем брать воду, то лучше всего здесь, дальше может не быть. И опять он был проще простого и понятный.

Нет, мне с моей работой надо завязывать - ничего не чувствую, не знаю... вот сейчас, когда он повернулся, я думал - он еще и телепат, а он: вода... Нет, все-таки первое впечатление никуда не денешь, обычная человеческая заурядность. Интересно знать: что он обо мне думает... Да и думает ли вообще.. скорее всего, что ничего. Ян с водителем несли увесистый ящик минеральной воды и здесь же, немедля откупорив, раздали живительное питье. Ян, с бутылкой воды в одной руке и сигаретой в другой, доверительно сообщил:

- Нашего водителя здесь знают и для него из холодильника, как у вас говорят, "по блату". Он говорит, что вы чем-то встревожены, недовольны, в зеркале невольно он заметил ваше настроение. Может быть, чаще останавливаться курить, а?

- Нет-нет, зачем же... встревожен предстоящим, а насчет недовольства... Да... недоволен... собой, шестьдесят первый год... пора бы уж и понимать, что к чему, а я все пребываю в тех сойеровских восприятиях.

- Так это ж хорошо, и вы сами это знаете, так что... выше нос и в путь, нас ждут!

Со стороны, я думаю, нашу компанию можно было принять за долго и хорошо знающих друг друга людей, но лишь немного утомленных и теперь едущих на воскресный пикник. Но как бы и что бы мы ни говорили, как ни шутили бы, подтрунивая один над другим, наш настрой и все эти разговоры - это была личина, так было проще. Даже окружающее воспринималось не так, как это происходило бы всегда: в тени огромного вяза нас ожидала вторая обычная машина (это было заранее обусловленное место встречи), но даже она смотрелась заговорщически таинственно. Фотокорреспондент, еще издали кивнув нам, быстро, как террорист, пробежав, нырнул в свою машину и она, пристроившись за нашей, на протяжении всего пути послушно и

неотрывно следовала за нами и была вроде настороже, готовая прикрыть нас со спины.

Пани Ванда вдруг оживилась:

- Ну вот что, мне надоели ваши хмурые физиономии. Я рассказываю анекдоты, извольте хохотать. Бог с вами, веселитесь, надрывайте животики!

С милой искренностью и наивом, нимало не заботясь, слушаем мы ее или нет, она сыпала маленькими историями чистоты и непосредственности цветов или ветерка, что свежо и ласково врывался в открытые окна машины. На один из них вдруг неожиданно бурно среагировал наш "кормчий", и это далеко не новое хрустальное повествование этим мне и запомнилось:

"Две дамы на заднем сидении такси ведут разговор:

- Нервы не на шутку расшатались: сегодня утром режу колбасу и представляете: дважды соскальзывает нож и стучит о доску стола. Кошмар!

- А у меня и того хуже, милая. До того не владею собой, что наливая кофе... капнула на блюдечко!

Водитель такси, который их везет, обернувшись к ним, спрашивает:

- Простите, ничего, что я сижу к вам спиной?"

Вот тут-то начальник нашей машины, истинное дитя природы, захохотал так пронзительно и вдруг, что водители соседствующих машин приняли, должно быть, этот его взрыв смеха за спецсигнал какой-нибудь и стали перестраиваться в рядности, недоумевая, уставясь на нас и уступая нам дорогу. Когда движение на дороге нормализовалось и в машину вернулась тишина, все тот же наш великан тихо и серьезно спросил пани Ванду:

- Но если он вел то такси, как же тогда он мог сидеть к ним лицом?

Ну, здесь мы несколько... не то чтобы стали менять рядность - в маленькой машине это не очень-то сделаешь, а вроде все вдруг оказались в состоянии невесомости, и пани Ванду мы вытащили бы сразу, ничего тут сложного не было (она действительно была легкая как перышко), но она вся была там, где должны были бы находиться только ее ноги (припомнилась та машина с большим колесом и запахом бензина), а мы с Яном тянули ее, должно быть, не враз, оттого что мне внезапно и немедленно необходимо было отбежать в сторонку.

Как бы ни были светлы и беспечны минуты, подаренные нам нашими внимательными друзьями, с каждым часом пути мы все более и более затихали, погружаясь каждый в свои думы, вызванные, должно быть, нашим дерзким рейдом в давно

ушедшее время.

В городском комитете Быдгоща по мере нашего продвижения по его холлам и коридорам по всему зданию все более разрастался необычно громкий голос человека, желавшего непременно, чтоб его услышали где-то далеко. Судя по тому, как возрастала громкость, все происходило в кабинете, куда мы шли и где нас ждали. Подумалось: "Какие, однако, в Польше крепкие двери делают не только не разлетаются, а висят себе и хоть бы хны, и никакие звуковые перегрузки им не страшны". Уже подходя к "эпицентру", Ян перевел:

- Из Варшавы беспокоятся: доехали ли мы, а здешнее начальство, как видите, неистовствует и тоже взволновано, недоумевает - куда мы запропастились и выехали ли вообще?

- Ян, а почему бы вам не посоветовать ему воспользоваться телефоном, в данном случае это много надежнее - огромное расстояние все-таки, триста километров, так что могут что-нибудь там и не расслышать.

Пани Ванде вдруг захотелось освежить руки. Ян хохотал.

- А-а, вот вы где, голубчики, наконец-то! - без всяких перестроев перешел хозяин на русский. Он жал нам руки и продолжал терроризировать (телефон?) расстояние и наши барабанные перепонки. - Нет проблем, все сделаем!

Затем дела пошли просто приятные и приятные во всех отношениях: мне вручили прекрасно сработанный ларец (это подобие наших старинных, больших сундуков, только маленький), огромное такой же красоты блюдо и немногим меньше в диаметре этого фарфорово-фаянсового чуда увесистую бронзовую медаль, которая меня возводила (если я чего-нибудь не перепутал, как часто со мною бывает; переспрашивать же в столь торжественный момент было бы, как мне показалось, верхом неучтивости) в ранг почетного гражданина города Быдгоща.

Ничего и приблизительного не предполагалось. Я просто, без затей хотел посетить места, некогда бывшие полем боя, теперь воочию мирно всмотреться в них, в долину, откуда расстреливали нас, притронуться к жженой бурости амбаров, наших защитников, - они помогли выстоять, заслонив нас толщью своих стен; увидеть его и сказать в душе дереву-великану: "Ты видел их всех здесь, на снегу, видел - они никому не хотели зла, мы так же стояли тут, как и ты. Расти и здравствуй!" И, может быть, закрыв глаза, постоять минуту-другую, постараться воскресить в воображении - вырвать из небытия и толщи времени всех тех, кого сумела бы вызвать моя память сейчас.

Но когда все стало вдруг приобретать совсем другой характер

и в ход пошли "трубы и литавры", то улегшееся было беспокойство (та ли эта Домбровка?), возвратясь с новой силой, не давало быть самим собой и соответствовать теплу вокруг. Под видом шутки я поведал нашему хозяину о своем сомнении, не без удивления отметив, что он говорил теперь не только нормально, но даже тихо. Сорок лет трудясь над изучением человека, его характера, предполагаемых реакций и рефлексов, я знал наверное, что радость и бравурность его сейчас позавянут. Тепло, радостно и громко он сказал:

- Дорогой наш гость и герой! Я видел ваше неповторимое выступление по телевидению. Вы сражались на территории Быдгощкого и Торуньского воеводств вы наш освободитель! Все остальное не имеет никакого значения. Мы любим, благодарим и пьем за ваше здоровье! - Он обнял меня и троекратно, по-русски поцеловал.

Сомнения ушли - я почувствовал себя героем, и этот душевный праздник был бы полным, не споткнись я об остро направленные взгляды трех или четырех человек, которые также сидели с нами за тем прекрасным столом. О-о-о, я узнал их сразу, хоть мы и не встречались никогда раньше - это были представители местной прессы!

Посетив кладбище Советских воинов в Быдгоще, мы вместе с двумя работниками воеводства, по культуре и идеологии, любезно согласившимися сопровождать нас, двинулись к конечной цели нашего поиска.

До Домбровки двадцать пять километров. Пожалуй, это самый странный отрезок нашего путешествия: болтаем, шутим, даже над чем-то хохочем, но что шумим и над чем уж так развеселились безудержно - теперь сказать не могу. Возбужден. Спросили о чем-то - ответил, но не совсем "впопад" должно быть, потому как вдруг вижу неловко вывернутую и протянутую мне руку пани Ванды?! Даже не сразу сообразил о своевременности этого душевного дара. Ухватился, держу. Пани Ванда ни разу не обернулась. Успокоившись, смотрю в убегающий за спину пейзаж, надеясь вспомнить, узнать. Напрасный труд - не видел, не ходил я этими дорогами... ничто не задерживает глаз узнаванием; напротив - что-то вроде неловкости, что мы едем не в ту сторону, не покидало меня. Не исключив, что внутреннее чувство ориентации, прочно обосновавшееся с той давней поры двух лет жизни на фронте, когда изо дня в день что бы ни делал, где бы ни находился - во сне, наяву, можешь, не можешь, - но должен идти на запад, на запад, и только на запад, и опять, и снова неуклонно и постоянно на запад, - смутно и слабо дремавшее доселе, сейчас отказывалось принимать окружающее и мое положение в нем.

Право, до смешного, - если бы развернувшись на сто восемьдесят градусов я оказался бы по отношению движения машины спиной вперед, вот тогда наверное чувствовал бы себя поставленным в верное соотношение с пространством. Справа - север, впереди запад, значит все нормально и правильно - вперед!

Машина с ходу переехала железнодорожный переезд, дорога щедро и широко уходила вправо, открыв с левой стороны небольшую пологую горушку с просторно расставленными на ней низкими амбарами...

Потом, позже ехавший с нами представитель культуры воеводства говорил: "Ну, дорогой мой, нельзя так. Вы вдруг стали страшным каким-то и серым... мы спрашивали - может, случилось что, но вы не услышали нас и какими-то нехорошими глазами куда-то устремились". Впереди промелькнул шпиль костела, и машина была уже в центре деревни у низенького, похожего на декорацию в кино здания. Как же так - костел должен быть справа?! Полное недоумение! Так бывает порою, когда, изрядно проплутав, въезжаешь в какую-то улицу и не можешь определить: где же это ты находишься и что это за район города? До момента, когда вдруг узнаешь и место, и улицу, и оказывается, ты прекрасно знаешь эту самую улицу и вообще сейчас ты уже в двух шагах от цели, но въезжал в нее раньше обычно с противоположной стороны. Только-то и всего. Нечто подобное испытывал я тогда.

Однако предаваться всяким там размышлениям мне просто-напросто не позволили. От группы людей, стоящих у "карточного домика", отделились и пошли к нам навстречу две девушки. Подойдя, одна из них некоторое время молча ясно смотрела на меня, потом сказала:

- Здравствуйте, Иннокентий Михайлович, как хорошо, что вы приехали. Мы счастливы видеть и принимать у себя защитника и освободителя нашей Домбровки. Спасибо, хотелось, чтобы вы были счастливы и здоровы. Эти цветы вам.

Здесь они уже как-то вместе, обе и цветы вручили, и поцеловали меня. Я думаю, так происходило оттого, чтобы не выявилось уж очень резкого распределения обязанностей: одна говорит и цветы подносит, другая подбегает и быстро целует.

Все получилось замечательно, и, конечно, я был рад предельно и смущен, однако не настолько, чтобы не отметить, что, приветствуя меня, два этих прекрасных существа тоже испытывали искреннюю радость, хотя, казалось бы, что я им вместе с Гекубой и каким-то там шекспировским шутом, бедным Йориком? Одно для меня стало совершенно ясно: если бы в ту далекую ночь в феврале 1944 года кому-нибудь взбрендило вдруг

уверять меня, что через сорок лет на этом самом месте меня будут целовать, обнимать и дарить цветы молодые, столь прекрасные существа - я бы немедленно, то есть не теряя ни одной секунды, сошел с ума. Отсюда вывод: как хорошо, что подобное редко кому может прийти в голову. Ну, правда, если говорить уж совершенно откровенно и серьезно - я тогда без всяких цветов, поцелуев и радужных уверений сам был очень близок к такому шагу. Ну да что... Всякое бывает и именно поэтому да здравствует здоровый дух и, конечно, здоровое тело. Никаких рефлексий и аномалий - и всё тут.

Девушки, извинившись, что у них жаркая пора подготовки экзаменов и работы в поле, к моему великому сожалению, ушли.

Местные руководители так же по-доброму и просто жали нам руки, обнимали и, окружив затем дружной семьей, куда-то повели. Внутренние габариты помещения не превышали размеры железнодорожного контейнера, в которых у нас в России перевозят мебель для малогабаритных квартир. Странно, но мы все поместились, правда, сидели несколько уплотненным вариантом, чуть ли не друг на друге, вроде как десант перед выброской, и только хозяин, молодой красивый человек с ярко-черной бородой, указав мне на более свободное место у стены - обратив меня тем самым сразу ко всем лицом, - сам напротив уселся на табурете, вытянув и скрестив ноги, вроде показывая, что у нас здесь места сколько угодно, только нужно уметь пользоваться им.

Был прекрасный кофе, такой же коньяк и вне всяких определений окружение. Здесь, очевидно, знали цену времени и вскоре попросили рассказать, какою я помню Домбровку. После утреннего разговора по телефону с Андреем мне казалось, что с объяснениями все завершено, однако теперь я понял, что поиски действительно кончились, но объяснения все еще продолжаются. В этот момент я перехватил быстрый взгляд Яна, дескать: "Придется и здесь, дорогой. Они такие славные, хорошие, видите - ждут. Пожалуйста". Попросив карандаш и бумагу, я с прилежанием ученика нарисовал картинку, по ходу упомянув об амбарах на окраине, о костеле в центре и обо всем, что еще помнилось. Все, живо интересуясь, не исключая Яна, заглядывали в рисунок, улыбались, качали головами и о чем-то тихонько переговаривались, однако ответ "домбровцев" на мою живопись несколько озадачил тем, что он был едва ли не точно таким же, как и много раз раньше, когда мы еще не были в Домбровке:

- Все это здесь есть, но все это же вы можете найти едва ли не в любой другой деревне, как бы она ни называлась. Дело в том, что здесь проходила довоенная граница с Германией, и метод

ведения хозяйства немцев - высокий, оптимальный метод - оказался недурным и для многих польских пограничных хозяйств средней полосы страны. Отсюда амбары на окраине, и костелы, и многое-многое другое, что, к сожалению, не может служить какой-то определенной приметой. Вот железнодорожное полотно - это здесь; это, должно быть, действительно мы.

Сигаретный дым все более сгущался. В ушах гудело. Хозяйка, при знакомстве назвавшая себя "властью на местах", бдительно следила за тем, чтобы паузы между полными и пустыми рюмками были сведены к минимуму, и оттого, должно быть, помещение довольно скоро стало непомерно большим и гулким, и людей откуда-то понабежало незаметно (правда, припомнить хотя бы одного из вновь пришедших я, честно говоря, не смог бы). Я пытался было подняться, с тем чтобы пойти поскорее увидеть именно в Домбровке все эти вездесущие "пригорки-ручейки", но... каждый раз в руке у меня оказывалась полная рюмка, содержимое которой я только что выпивал! Совершенно обалдев от этого наваждения, я вдруг несуразно громко заорал (наверное, с тем чтобы во всех отдаленных концах зала тоже было слышно):

- Вот эта уж последняя и все!

- Так мало - не позволим, - убаюкивающе-демократически прозвучало рядом, и рюмка снова была полна.

- А не помните ли вы название деревни по-немецки? - почему-то хором, в унисон проорали какие-то бородатые близнецы.

- Почему же это я не помню, интересно... ничего себе, нашли тупоголового Емелю - помню, и даже очень хорошо помню - Домирау!

Слово будто обожгло - все враз с шумом встали, в сутолоке кто-то нечаянно смахнул блюдце со стола, и тонкий звон фарфора потонул в радостном крике по-русски: "На счастье!" Кричали все. Гасили сигареты, оставив дымящийся свежий кофе. Мы ринулись наружу. Наш гостеприимный хозяин, первый секретарь комитета Домбровы Хелминской Здзислав Махевич, красивый человек с бородой (это он сидел, вытянув ноги, брат же его не то сбежал куда-то, не то мне показалось... что здесь еще был похожий на него человек), тоже вскочил, что, кстати, никак не вязалось с его внешним покоем и уравновешенностью. Он как-то по-новому, совсем по другому смотрел на меня. И хоть помещение давно вернулось к своим реальным объемам, и голова, как, должно быть, у всех непьющих людей, была яснее ясного, но подняться к моим польским друзьям я, к моему удивлению, не мог. Говорят, "ватные ноги" - ох как точно!

- Нет-нет, не спешите, мы подождем, - успокаивал меня Здзислав.

- Как только вы нарисовали дерево у дороги, - подбадривала меня молодая женщина, потчевшая нас коньяком, - тогда стало совершенно ясно, что это мы!

К сожалению, она не дала своей визитной карточки, и теперь мне приходится прибегать к таким вот определениям.

Вскоре мы шли по улице деревни. Где-то справа промелькнули две темные, круглые тумбы. "Мои знакомцы", - пронеслось во мне, но так был взволнован тем, что предстоит увидеть минутой-двумя позже, что остановить себя был не в силах. Увидев треугольник конька крыши амбара, я заорал:

- Это он!

- Вам не терпится, мы понимаем... Точно такой же, но позже, - охладил меня Здзислав.

Как самая вершина пирамиды Хеопса в Египте, между построек выплыл действительно точно такой же, но теперь уж именно тот треугольник крыши амбара. Я действительно узнал его и был немало смущен и досадовал, что поторопился с его двойником раньше. Очевидно - нервы. Две трети прожитой жизни в самом прямом, буквальном смысле слова было отвоеваны здесь, под его кровлей.

Вот сейчас бы отдохнуть часок или хотя бы наедине побыть... это ведь так, в общем-то, просто и понятно.

Вот он, этот двор!

Седые виски в двадцать четыре года - след пережитого и здесь, у этих бурых стен. Две трети жизни были просто подарены - здесь. Сорок лет... Что же ты такое - судьба?! Будешь ли вести меня и дальше по жизни, людям, работе?! Я все тот же и твой, лишь стал слабее, а отсюда злее, нетерпимее, и в те редкие часы, что ты все еще даришь мне силы желать и стремиться жить, я обещаю тебе здесь, на этом дворе: быть послушным, постараться вернуться к тому безропотному "я", которое должно быть было достойно твоей опеки, твоих испытаний, доброты в сорокалетнем прекрасном, полном надежд и света, так необходимом людям... чудовищном, адовом труде, уносящем последние силы, но и дающем сторицей их для продолжения его, для жизни, любви, веры, терпения и борьбы. Благодарю тебя. Я - здесь и я - твой.

Мы на двадцать первом километре от того двора. Здесь холмисто. Само захоронение на высоком месте. Окраину городка рвали порывы холодного ветра. Вечер; хоть время еще не позднее, местных жителей не видно. Ветер вопит, неистовствует, рвет одежды на нас, до неприятного ощущения ершит наши парикмахерские прически.

Цементно-серый, обделенный стройностью обелиск, ряды вздыбленных могильных плит. С указанием имен и фамилий совсем немного, все означенные перечел. Ни одно не связывало памяти с прошлым. Грустно, тоскливо. В братской могиле того холма 1284 человека... Свозили, должно быть, с разных сторон и мест. Стоим, ежась. Молчим. Воет ветер. Он рвет, кажется, совсем изнемогшие деревья, сея между близко стоящими распри. И те доверчиво наивны в своем простодушии, принимая ветренные наветы за правду, мечутся из стороны в сторону ветвями, резко набрасываясь одно на другое; и казалось, те, что послабее или подобрее, уже готовы смириться со своей судьбиной-участью, но неожиданно гордо вскидывают ошалелую еще голую крону, как будто обретя силы и основание постоять за себя, пригибают своенравного соседа, сбрасывают его объятия и под улюлюканье и хохот ветра с остервенением ломают предателю хребет. Но тотчас, опомнившись или испугавшись поверженной спины соседа, истошно воя, вскидывают "руки" вверх, стараясь уклониться от внезапных вероломных ударов своего вдруг воспрянувшего, еще недавно совсем сникшего ровесника. Готовые бежать вдруг понимают всю тщетность усилий уклониться, уйти и, в иступленной безысходности негодуя на себя, с новой силой обрушиваются на своего обидчика рядом.

Холодно. Мы стоим прибитым потерянным кружком, чтобы хоть как-то защититься от ветра. Передергивает озноб, у всех

синие носы. На пьедестале обелиска, рядом с увядшими, кем-то ранее принесенными и придавленными камнем гвоздиками янтарем желтеет одинокий огарок свечи. Хорошо бы зажечь его, но это невозможно, нас самих швыряет из стороны в сторону. На одну из плит надгробий удается прикрепить несколько гвоздик и они, вздрагивая своими прелестными, красными головками, разбивают застывшую, серую тоску плит.

Почему нет имен и фамилий? Надо полагать, существует отдельная книга, списки у работников этого мемориала, где указаны подразделения, звания и возраст погибших. Но сегодня здесь никого нет, кроме ветра, тоски и холода, и спросить не у кого. Пора возвращаться. Все устали. В Варшаву предстоит ехать в темноте.

Странные, ох странные мысли владели тогда моим уже достаточно за те сутки измученным воображением. Я гнал их, пытался уйти, но, нагло захватив, они волокли меня по своему оголенному руслу, нимало не заботясь о совести, душе человека, управляясь со мной, как этот ветер с запуганными деревьями. Судьба! Что ты такое - судьба! Что, уже каждому раз и навсегда предопределено - как, что, где, когда??? В живых после той ночи остались девять человек; не задетых, не раненых - и того меньше, единицы. Я - один из них. Однако я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы - в общем, я делал все то, что делали все, каждый вокруг нормальный солдат, боец, человек. Других, поступавших иначе - не видел, не знал, за два года беспрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного.

Скажу больше - в силу юношеской бесшабашности, беспечности, легкомыслия или порою просто лени я и к этим обычным мерам предосторожности не прибегал - но вот ведь цел, тогда как порою справа, слева, близко, просто рядом бывало совсем другое. Так что же это? Случайность? Везение? Прослеживая жизнь, иногда кажется: я "специально" (правда, это совсем не то слово) оставлялся какой-то силой или, если угодно, "Кем-то", для того чтобы в будущем создать моего Мышкина, Гамлета, Моисея Моисеевича в "Степи" Чехова, Циолковского, Царя Федора, Войницкого в "Дяде Ване" и еще два - два с половиной десятка неплохих работ. Стоит представить: что бы такое было в этих персонажах, не будь в них моей жертвенной сути, природы самозабвения и исповедальности. Очевидно, не следует вопрошать прошедшее; происходящее сейчас - настоящее - убедительно и горько вопиет: "Что получается с этими высокими эталонами человечности, когда за них берется

несостоятельность!" Конечно, я упрощаю, но, кто знает, может быть, для этого кто-то упорно и неуклонно ведет меня на этой земле по жизни, по работам, по людям. Оберегает, ограждает, бросает в омуты и круговерти, сводит с подлецами и монстрами, с ничтожествами, с грязными и низкими людишками, ведет, испытывает, ужесточает, черствит, но и подсовывает соломку, чтоб смягчить, облегчить падение, удары.

Я все-таки попытался было зажечь свечу. Возражений не было, но и подбадривания прозвучали как-то сникше, вяло. Людей можно понять - нужно было ехать. При первых же попытках становилось ясно, что ничего не выйдет, не получится. Злюсь, уговариваю себя: "Ну хоть одну-единственную секунду пусть потеплится живое... пусть!" Снопиком по нескольку спичек безуспешно силюсь оставить сине-зеленое золото огня на фитиле. Спички кончались, когда маленький огонь перекинувшись затрепетал наперекор невозможному. Не веря этому чуду, не отрывая рук, я заорал:

- Смотрите - горит, горит, видите!..

Забыв о холоде, все уставились в мои ладони, где, как крохотное живое существо, билось нервное, маленькое пламя. Удивительно?!! Теперь-то уж этот так трудно рожденный факел справится со стихией и без моей помощи. Стоило отнять руки - огонь исчез. Нестройный вопль сожаления слился с мечущимся воем ветвей и ветра. Стало грустно. Салют окончен, путешествие завершено, этот маленький огонек послужил некой наградой за усталость, терпение и озноб.

Постояв немного, посокрушались - как коротки бывают праздники, и все наконец направились к машинам. Здесь произошло то, чему, наверное, не будут верить, ничего особенного не случилось, но вместе с тем оно было! Чтобы не было недомолвок, я говорю: в этой книге нет вымысла, да он здесь и не нужен, вся история на самом деле пронизана невероятными событиями, мгновениями и украшать их - излишне. Все участники нашего путешествия живы и, надеюсь, здоровы, и они просто не позволят мне сочинять небылицы, поскольку и сами были поражены случившимся не меньше моего.

Не помню кто оглашенно закричал:

- Смотрите... смотрите... горит!!!

Развернувшись, мы онемели и какое-то время стояли не веря глазам своим: едва заметный крохотный огонек метался над свечой... горел!

Не сговариваясь все ринулись к обелиску. Зачем? Почему? Кто-то что-то кричал. Взрослые, зрелые, пожившие люди, уже достаточно измотанные и уставшие, бежали и орали. Зачем

бежали, почему орали? Что изменил, что утвердил этот бросок? Непонятно. Думаю, что ничего. Но вот такая ошалелость тем не менее была. Огонь еще бился, трепетал, когда с доисторическими, диковатыми возгласами мы обступили этот фитилек, но... вновь налетевший вихрь вместе с взревевшими деревьями погасил и эту упорно цеплявшуюся жизнь.

По природе своей человек, очевидно, склонен к вере в чудесное. Все, разумеется, понимали, что тогда огонек просто-напросто не совсем затух, как нам всем показалось и как, увы, окончательно произошло это сейчас, но... рассаживаясь в машины, все, как загипнотизированные, впились взглядом в огарок свечи у обелиска павшим.

Часть вторая.

Двор

Меня оставили жить

Глубокая ночь, время самой вязкой ее власти. Монотонные ритмы долгого марша расслабляли, укачивали и редко какому звуку удавалось выделиться в толще однообразных звуков движения колонны и пробиться в изнуренное, заторможенное сознание идущих. Сон скашивал, гнул, сокрушал. Шли давно. Пора быть привалу, давно пора, уже давно невмоготу, но шум идущих в темноте людей расползался цепкой заразой - давил, стирал, выматывая последние силы, а привала все не было и не было. Но вот далеко за спинами наконец что-то прозвучало. Никто толком не разобрал, что это за команда, кто кричал и вообще был ли то крик, однако кто слышал этот звук - затаился, притих, ждал его повторения, жадно надеясь услышать "стой, привал!". Но топот сотен ног вытеснял это измученное ожидание. Мысли о другой какой-нибудь команде в отяжелевших, набрякших головах не возникало. Однако вскоре, ясно и четко приближаясь, послышалось: "Остерегись, не спать, возьми вправо!" И легкая повозка, запряженная двумя лошадьми, резко прогромыхав, ушла вперед. Лошади не по-ночному неприятно громко фыркнули, словно давали сигнал, боясь наскочить на кого-нибудь в темноте. "Тоже не железные, поди, силы тоже, поди, на исходе". В повозке за спиной беспрестанно кричащего ординарца высохшим крючком промелькнул силуэт командира батальона, он вообще крючковат, будто ему всегда холодно, и, развалясь рядом с ним, кто-то, судя по безвольно мотающимся из стороны в сторону коленям, спал. "Скачут вперед, чтоб остановить голову колонны, по себе, должно быть, почувствовали, что пора". С этой мыслью было как будто светлее и легче, может быть потому, что других вообще не было, а она хоть и одна-единственная, но честно и добросовестно выполняла свою

работу - заставляя двигаться, моторно тащила вперед. Темные спины впереди мотались тенями, удаляясь, то вновь оказывались совсем близко, и резкий запах давно немытых тел с тяжелым сопением заполнял собой сознание и все вокруг, и даже ощущалось тепло рядом идущих. Бормотание каких-то странных, незнакомых слов неясной звуковой круговертью надоедливо вползало в сознание. Пришла мысль: должно быть, быстро иду, нужно помедленнее или даже несколько приостановиться, а потом опять качнуть себя вперед, чтоб не отстать. В какие-то моменты ожидание привала, придя вновь, вдруг оборачивалось ожесточением и надсадной ношей оседало в душе, и только темнота лесной дороги, казалось, была неизменной и бесконечной, как сама дорога.

Очевидно, та минута была одной из последних минут, когда еще мог соотносить себя, ночь, дорогу в лесу и все еще ждать, ждать... привала и, импульсивно переставляя ноги, все же двигаться вперед, не опасаясь, что вот-вот рухнешь подкошенным снопом, когда поднять тебя, по существу, уже не будет никаких сил. Еще какие-то совсем малые мгновения, и я действительно свалился бы, зайдясь в подступившей истерике, и, чтоб хоть как-то противостоять этому надвигающемуся тупику, задрав голову, я заверещал на каких-то совершенно не свойственных мне высоких тонах: "Не могли передние уйти так далеко, не могли, должны же они, наконец, остановиться когда-нибудь и дать... дать отдохнуть, лечь!"

Кажется, оттуда же, сверху, куда я только что невольно излил всю горечь накатившего приступа бессилия, ответили: "Лечь, где? Лес, снег, темнота". Не взяв в толк, что возражаю какому-то другому, совсем иному миру, все так же гнило пропищал: "Все равно, все равно - лишь бы лечь, остановиться и лечь!"

- Помочь, тяжело тебе? - теперь прозвучало совсем рядом над ухом.

Оглядываюсь... никого!?

- Вижу, ты не веришь, а я действительно готов помочь, - двумя шагами впереди меня, несуразно мотаясь, тащил себя худой, длинный, как вешалка, славянин... Он брел нескладно, вероятно, его так вело, и в те короткие моменты, когда он оказывался вывернутым в полуоборот ко мне и все же успевал выложить свои дурацкие наставления, что-то очень бледное, длинное, как полено, маячило там, где у него должно было быть лицо... и, лишь когда голые кроны деревьев уступали место темным разрывам - продыхам между ними, это "что-то" оказывалось все же чахоточно-длинным клином его лица.

- Чем поможешь, потащишь мой автомат или меня самого?

- Зачем такая крайность, она, надеюсь, тебе не понадобится. Да и не какая это не помощь, а так... минутная жалость, даже не сострадание обман... Любит человек, чтоб его пожалели...

- Что ты несешь всякую х..., вот я издохну сейчас прямо здесь на дороге и к чему тогда вся твоя сраная философия?

- Самому уходить из этого мира никогда не следует, об этом позаботятся другие. Видишь ли, ты попросту не прав, ты хочешь идти и спать - так не бывает.

- И совсем я не хочу идти - я хочу спать, и ничего больше, только спать, спать, спать... только спать.

- Такая определенность замечательна и похвальна, но сейчас-то требуется идти, значит - надо идти, а спать будем, когда придем, и что тут толковать не понимаю. Я, к примеру, не молод, как ты, и сил у меня намного меньше, а вот, как видишь, - иду, не скулю, не ною на судьбину, не жалуюсь, наоборот, рад - иду в тыл... значит, скоро отдохну и высплюсь.

Я пытался разглядеть эту редкую "жердь". Никогда раньше в нашем подразделении я такого не видел. Длиннота его не могла не обращать на себя внимание. Он был худ как я, но еще головы на полторы, а то и все две выше, длиннее...

Этот удивительный рост... и память властно относила меня на Днепровский плацдарм, где моя собственная удлиненность едва не оказалась причиной гибели. Немцы точными и плотными по насыщенности артналетами перебили нашу связь, протянутую по дну протоки (со штабом полка, не то дивизии - точно не помню), докладывать об обстановке на плацдарме высшему начальству, находящемуся на острове, посредине Днепра, должно быть, было необходимо (???), и из подразделений выбирали самых высоких ростом, чтобы те вброд, под обстрелом, то и дело погружаясь с головою в воду, держа лишь над ней, над водой, пакет с какими-то там страшно секретными данными, могли, если повезет, пройти самый глубокий, а оттого самый опасный медленный участок протоки, и, выбежав из воды опрометью, сверкая голым задом, нестись по совершенно открытому, пологому, как хороший пляж, песчаному берегу до какого-нибудь овражка или ямы. Какой овражек, какая яма - берег ровный как прекрасный пляж, тогда хотя бы просто залечь за вздутые от времени, нестерпимо дурно воняющие останки наших боевых товарищей - погибших лошадей, перевести дух и опять что есть сил до следующего укрытия, а там, глядишь, и до спасительного леса. В одну из таких увеселительных прогулок выбрали меня и одного (небольшого роста) бойца из какого-то, как помнится, соседнего подразделения. Ничего не объяснив, нас привели в землянку начальника штаба полка, поставили рядом и мне

одному приказали поднять руки вверх. Ничего не подозревая и думая, что и здесь продолжается вечное подтрунивание над моим ростом и худобой, я глупо тянулся в этакую несуразную оглоблю, но, кажется, именно эта нелепая вытянутость произвела впечатление на стоящих перед нами офицеров; они едва ли не хором сказали: "О-о-о, здорово!" И именно в тот момент, когда они так дружно "проокали", в их глазах я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность, или, вернее: "Жалко ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить..." Я все понял.

- Вот пакет, его сухим следует доставить в штаб на острове, через протоку ты идешь первым, ты - старший, он, - офицер показал на того плотного парня, молча, с интересом наблюдавшего эти мои устремленные в накат блиндажа упражнения, - будет тебя подстраховывать, если что случится, ну мало ли, ранят тебя, захлебнешься, или...

Помню, и заминка его, и это его "или", довольно выразительно им не досказанное, не вызвали во мне ни героического порыва, ни самозабвенного вдохновения, скорее, напротив, и я пересохшим вдруг горлом пытался было объяснить, что сейчас утро, все просматривается как на ладони, и у немцев брод пристрелян, и он бьет по нему не только навесным минометным огнем, но и просто-напросто видя цель, прямой наводкой и, кажется, не самым мелким калибром своих орудий... К тому же вчера мы имели возможность наблюдать подобные дневные попытки пройти через эту же протоку, и оба посланных связных у середины брода были расстреляны. "И потом, - продолжал я увещевать спокойно, по-доброму слушающего меня, кажется, понимающего все, напутствовавшего нас начальника, - он совсем маленький, он захлебнется у берега, - показывал я на моего низкорослого подчиненного, - а там не меньше двух метров, я думаю, а местами так и поглубже; вчера те двое, не знаю, вы посылали их или нет, но не прошли же - мы видели". В общем, всячески убеждал, как мог убеждать восемнадцатилетний человек, страшно желавший жить: говорил, что подобное задание, кроме нашей гибели, ничего не принесет, что попросту мы будем следующими, кто у середины протоки пойдет ко дну. Говоря все это, я поражался молчаливости офицера, его терпению.

- Вот поэтому сегодня идете вы в таком соотношении, - мягко прервал меня офицер, - он без оружия и повторяю, если что... он доберется вплавь, он - прекрасный пловец, именно поэтому он и идет. Как видишь, мы все учли и исправляем ошибки вчерашнего. - И видя, должно быть, что "пловец" осознал наконец ситуацию и собирается что-то сказать, офицер все так же мягко, как и раньше, но как-то уж очень отчужденно произнес: - Да-а, вот

так!!

- Сейчас смеркается рано, может, лучше переждать пару-тройку часов, а то ведь так... - начал было до того безмолвствующий, но вдруг ставший страшно серьезным и с какими-то уж очень умными глазами мой помощник.

- Вы же знаете, у него все пристреляно по этому броду, ночью он бьет с еще большей плотностью, чтоб не допустить возможного подкрепления нам... так что... сами видите - из двух зол... ничего другого не остается, как идти сейчас... и-и-и... Все, там ждут, выполняйте! - Офицер, вроде сказав все, что он должен был сказать, смотрел куда-то вбок.

Мы еще какое-то время стояли, и я увидел, как мой боец рядом чуть развел руками, они мелко-мелко дрожали и как бы спрашивали: "Как же это??" и, услышав, - "Вернетесь - доложите, за вашим переходом протоки буду наблюдать сам, действуйте!" - опустил их. Мы вышли.

Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела - такое указание тоже было, и где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Я что-то пытался крикнуть ему, но думаю, что это было неверно, глупо, да и просто бесполезно - грохот разрывов усилившегося обстрела (ребята у минометов видели, что я пока все еще жив и на плаву уходил) заглушал все кругом. Пройдя глубокую часть протоки, на бегу оглядываясь, пытался схватить взглядом пройденный участок брода, но никого уже не было: его или снесло течением, или он затонул. Из-за какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом... но берег и протока были тоскливо пусты. Тот дурацкий пакет я доставил, в этом-то отношении все было в порядке, и меня даже представили к награде медалью "За отвагу", правда, вручили мне ее спустя 49 лет прямо на сцене МХАТа после спектакля "Мольер". Мои однополчане москвичи (их осталось раз-два и обчелся) сами разыскали все документы по этому награждению, и в реляции (так, кажется, называется подобный документ) был кратко, по-казенному, описан этот нелепый, в общем-то никому не нужный (я и сейчас так думаю) эпизод. На острове мне разрешили задержаться до наступления темноты, и в свое расположение я вернулся ночью. Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие, и все, кто видел, как колошматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав,

что меня даже не царапнуло. "Ну везет тебе, длинный, ты просто счастливчик, несмотря что доходяга".

И теперь, когда в прозрачном сумраке ночи то появлялась совсем рядом, то едва не исчезала вовсе фигура этого действительно длинного и столь же разговорчивого человека, я наверное знал: будь он тогда на нашем небольшом плацдарме вместо меня, без сомнения, протоку проходил бы он, и никому тогда и в голову не пришло бы заставлять его поднимать руки. Он все так же молол какую-то ерунду, но говорил почему-то громче. Мысль, что в протоке купалась бы эта долгая, болтливая каланча, показалась почему-то смешной и отвлекла меня от надсадной усталости... Неожиданно белесые глаза человека, только что мотавшегося бледным призраком в студеной протоке Днепра, оказались у самого моего носа и уставились в меня.

- Слушай, что тебе в конце концов надо, ты напугал меня, отстань наконец... конца этому... наконец... не видно конца... в конце... на конце концов!!

- О, это понятно... так... заклинит на одном месте ни туда и ни сюда и никого в конце концов... конца... Понимаю, я призван все понимать и прощать. - Голова колыхнувшись несколько раз в такт шагов, вознеслась восвояси, и оттуда сплошным потоком понеслось невесть что о каких-то концах, которые в конце концов... наконец... к концу... в конце... конец.

Я уже ничего не соображал и плохо слышал, отвлеченный тем, что только что колыхнулось передо мной. Какие... мутные уши... и размер... ничего себе... ничего подобного никогда не видывал... они были куда выразительнее этой его необычной долготы; вцепившись в них взглядом, я тем не менее услышал нечто, что многое объяснило:

- Никто и ничто не обходится без меня. Я - всюду, я - везде, я - был, я - есть, я - буду, потому что я - всегда и присно и во веки веков!!!

Очень хотелось встрять и сказать "аминь", но стало неуютно вдруг и немножко страшновато... было совершенно ясно - рядом сумасшедший, как же это я раньше не догадался? А в армию-то его зачем же взяли??? А-а-а, он, должно быть, уже здесь, на фронте, свихнулся... он же здесь перебьет всех своих на хрен! Сумасшедший, совершенно определенно... уши, уши мутные - первый признак! О-о-о, с ним надо поосторожнее... не то, неровен час, влепит ни за что ни про что и ищи-свищи ветра в поле, не случайно он как-то присматривался ко мне... вот они - уши!

И тут вроде его опять подзарядили на ходу:

- Без меня человечество - вонь, грязь, плесень и чесотка, я его отмываю, делаю чистым, свежим, бодрым, способным на добрые

дела и все еще, надеюсь, достойным моего внимания.

Оставаться дальше безучастным было небезопасно, выбора не было, и, легонько сторонясь его, я деликатно согласился с ним:

- Да-да, понимаю, товарищ... потому что вы - Господь Бог!!!

- А вот и не угадал, но близко... потому что я - варю мыло! Я - главный технолог мыловаренному заводу з мисту Николаеву. Ты був там? Це моя батьковщина - гарне мисто! - перешел он вдруг на одесский диалект. Все услышанное о мыловарении было столь неожиданным, что, очевидно пытаясь свести это открытие к простому и реальному и определить, кто все же из нас двоих ненормальный, я остановился.

- Во, бачишь, хлопче, яка сила слова - ты встал, это так и должно быти... потому что, - перешел он опять на русский язык, - вначале было слово и слово было у Бога и слово БЫЛО БОГ, а потом уж появилось мыло, человечество и все остальное, со всякими там семью парами чистых и, кажется, таким же количеством крупного рогатого и не менее интересного, но совсем немытого, нужного, но не очень ухоженного всякого другого, в любом хозяйстве скота, которого срочно нужно было мылить, мыть, чесать и гладить, иначе не было бы равновесия в мире, гармонии и, конечно, не было бы никакого мыла и, что, разумеется, огорчительнее всего, - не было бы нас с тобой. Как пусто, правда, и печально, - не выговорить.

Совершенно запутавшись и перестав вообще что-либо соображать, я теперь решил по-доброму попросить его больше ничего не произносить - ни единого слова, потому что, для того чтобы осознать все произносимое им, тоже ведь нужны силы и немалые, а поскольку... Однако новая волна откровений, дошедшая до моего сознания, оставила меня на ногах, но принудила быть не только настороже, но просто наготове.

- Я - червь, я - раб, я - царь, я - Бог! - уже как-то заходясь, выкрикивал он, нащупывая в темноте мою руку. - Теперь давай попробуем вместе, повторяй: "я - червь"...

Как если бы прося пощады, я выдохнул:

- Я что-то не могу понять, о чем ты все время говоришь... и почему это я вдруг стал каким-то червем?

- Ну что ж тут непонятного, подумаешь, бином Ньютона. Все намного проще, повторяй за мной и иди в ногу: "Я - червь, Я - раб, раз-два, Я царь, три-четыре, Я - Бог, пять-шесть и опять раз-два, Я - червь".

- Ну хорошо, хорошо, Я - червяк, араб, Мифусаил... и кто там еще, все равно ничего не понимаю, и не хочу, и оставь, пожалуйста, ты видишь, я просто не могу.

- О-о-о, это непонимание и есть первое проявление

очеловечивания, даже можно сказать, что ты на пороге сознания... А вот сейчас тебе будет совсем хорошо, именно это состояние когда-то совсем недурно определил мой предшественник Декарт. Правда, он был дилетант и совсем не умел варить мыло. Он говорил: "Я мыслю - я существую!" Ну ты сам подумай, как можно уметь мыслить, не умея варить мыло!

Бред - сущий бред! И он чем-то очень холодным, освежающим, даже не спросив ничего, протер мое лицо, и запах далекой спокойной жизни приятно ударил в нос. И вот уж не знаю, не то он меня добил, не то я сам сломался, но я даже не испугался неожиданности его проделки и наконец имел возможность разглядеть, что же такое творится с его ушами... и был огорчен - это какие-то большие нахлобучки, которые только имели форму ушей, но были много больше, и этот странный мутный цвет, и все это совсем не хитрое сооружение уходило под пилотку, оставляя действительно очень узкий абрис его бледного лица.

Светало... Привала, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, давила с новой силой. За спиной вдруг что-то произошло?! Обернувшись, успел заметить метнувшуюся с дороги тень, и треск в бессильной злобе разбитого о дерево котелка (как потом выяснилось - полного молока) слился с истошным воплем солдата:

- Что хотите делайте, дальше не пойду, не могу! - Мгновение мы растерянно топтались на месте и горохом сыпались на снег и дорогу.

Отбежав пяток шагов от терзавшего все же меня "Мутных ушей" я рухнул на землю. Солдат от одних ног перекатывался к другим и неприятно, надрывно, громко орал. Все молчали. Дорогу и небольшой редкий лесок у обочины заполонили собой кашель и тяжелое рваное дыхание. Все всё понимали и тем не менее, если бы были хоть какие-нибудь бы силы, то, пожалуй, в душе благословляли бы эту минуту, позволившую наконец вытянуть ноги, а так как сил не было напрочь - то просто лежали, сопели, дышали.

Появился лейтенант, молча уставился на происходящее и, присев, старался поймать катавшегося солдата. Когда ему удавалось задержать его, он гладил по спине, голове и как-то уж очень уныло твердил:

- Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше.

Было противно на душе, всего какими-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это, (да полноте - должно было! - уже происходило, только я не орал как зарезанный, вот и вся разница, оттого и невмоготу). И не я ли

своим писком невольно подтолкнул этого любителя молока на его вопль и конвульсии?

И как ни убеждал я себя, что он был далеко и не мог услышать меня мысль, что я-то услышал его сразу и хорошо, так почему же он, будучи на таком же расстоянии, что и я от него, не мог услышать меня СНЕДАЛА, было противно, как близко, как опасно близко был я к такому же! Однако, правда и то, что вокруг меня тогда, во время моего вопля, было все наше подразделение, но никто же другой не завопил, не стал разбивать автомат о дерево, не бросился на землю, скорее напротив, человек с ушами, к примеру, он просто был рядом и более уравновешенного, спокойного человека трудно было сыскать... Кстати, где он? Спросил и тут же уперся в него.

Облокотясь о дерево "Мутные уши" сидел спиной к "лобному месту" и смотрел в мою сторону (лучше б я его не искал). "Ты видишь - мы поступали правильно, а такое, как видишь, гадко!" - кричали его глаза, и лишь редеющая темнота, тоже, должно быть, уставшая от борьбы с разливающимся рассветом, понимая меня не спешила уходить, чтоб в сумраке мне было легче бороться с самим собой.

Все! Сейчас встану, подойду к этому прекрасному человеку с мутными ушами и скажу: "Я такое же говно, как этот, я кричал первый!" - но не встал, не подошел и никому ничего не сказал... пожалел сил?.. Нет... не мог, было стыдно! Было нестерпимо.

Угнетенный борьбой с самим собой, я, к сожалению, не мог в полной мере воспользоваться и впитать так неожиданно предоставившийся отдых. Вскоре мы опять шли. Намерений, чтоб уклониться или, напротив, искать соседства с "Мутными ушами" не было, острота пережитого все делала безразличным, но, увидев его около себя, испытал что-то вроде облегчения, радость, хотя что он мне или что я ему? Но вот, тем не менее такое было.

"Мутные уши" с мылопроизводства перебросило на виноделие и перед тем, как шарахнуться в еще какую-нибудь область человеческой деятельности, он вдруг спросил:

- Ты любишь виноград?

- Где ты возьмешь его сейчас?

- Ты меня или не слышишь, или я тебя переоценил и, если хотя бы одно из предположений подтвердится - никакого винограда ты, конечно, не получишь... Итак, я еще раз повторю свой вопрос: ты любишь виноград?

- Люблю - обилие вдруг хлынувшей слюны делало меня покорным и совсем немногословным.

- Прекрасно, сейчас мы все это вместе и проделаем, повторяй за мной: Вайн-трауб... и в ритм этих вечных звуков и надо шагать,

итак... Вайн-трауб.

- А что это такое, вот это: "Вайн-трауб"?

- Это и есть виноград и некоторым образом - моя фамилия, мы с ним однофамильцы, он - виноград и я - виноград, он - везде, и я - всюду, я тебе уже об этом как-то говорил.

- Ну, виноград... это я понимаю, а ты-то почему всюду?

- Потому что я делаю мыло, после хлеба и вина мыло - продукт первой необходимости... Итак, повторяй и шагай: Вайн-трауб, раз-два, Мендель-Блок, три-четыре.

- А это что еще такое?

- Мендель - это мое имя, а Блок - вторая моя фамилия, в отличие от моего родного брата, он тоже Мендель и тоже Блок, здесь уж ничего не поделаешь - местечковая еврейская ограниченность. И отец у нас Мендель, поэтому я для пущего смеха взял себе фамилию матери - Вайнтрауб... Однако мы отвлеклись...

Вскоре за ним пришел запыхавшийся связной, и я невольно узнал, что мой новый знакомый еще и переводчик при штабе полка. Пообещав найти меня в месте дислокации, куда мы так долго держим путь, он ушел.

Конечно, это был необычный человек, не сумасшедший, нет, но и обольщаться по поводу его уравновешенности, как вспомню его эти выкрики "Я всюду, Я - везде, Я - всегда!", я бы тоже поостерегся.

А вместе с тем как легко и очень просто он заставил меня навсегда запомнить его фамилию, хотя мы расстались с ним тогда навсегда, однако непростая фамилия его вот уже полвека живет в моей памяти, как пять других фамилий друзей-товарищей моих, с которыми довелось прожить долгие месяцы фронтовой жизни, таких как Михаил Васильевич Привалов, Николай Георгиевич Степанов, старший лейтенант Кривошеенко (имя-отчество, к сожалению, не помню), генерал-лейтенант Каладзе, Фомин. Правда, еще одну фамилию я помню, но не хочу вспоминать ни фамилию, ни самого того гадкого, мерзкого, страшного человека - он не достоин упоминания даже в обычном перечислении. А вот этого действительно прекрасного, замечательно доброго, нежного человека, кажется, не забуду никогда уже хотя бы и потому, что он был последним человеком, кто был внимателен ко мне перед тем кошмаром, о котором я начинаю рассказ.

Ничто не предвещало того, что произошло здесь всего за одну на исходе зимы февральскую ночь. Это была небольшая обычная деревенька, каких огромное множество побывало уже на нашем долгом пути. Ее можно было бы отнести даже к уютным,

чистеньким селениям, в которых жить покойно, надежно - да так оно, должно быть, и было.

Мы пришли сюда засветло, немногим позже полудня, но шли всю ночь и утро этого последнего для большинства из нас дня. Спина ныла, ноги гудели, и тяжелая, вялая голова медленно склонялась вниз, временами как бы спохватываясь, закидывалась вверх, борясь с одолевшими ее усталостью и сном. В общем-то, это - обычное состояние человека после долгого перехода, и во время войны никто никогда об этом не говорил. Дело это было, как говорится, привычное. Фронт, передовая - не самое подходящее место для разговоров об усталости. Да, уставали, так было.

Передовая требовала предельного выявления напряжения человека, его возможностей. Однако сейчас, собираясь написать о случившемся в этой деревне почти 50 лет назад, испытываю неловкость, вспомнив об усталости, и если все же продолжаю говорить о ней, то только потому, что именно в ней, думается, в ее предельной крайности таилась одна из зловещих причин случившегося.

Плетясь, буквально волоча отекшие ноги, мы разбрелись по нескольким домам, ютившимся около почему-то очень темного, тонкого костела, однако часть из нас, в которую входил и я, сразу же должна была двинуться на окраину деревни. Эта необходимость казалась безрассудной и оттого противной. К чему же здесь эта скоропалительная чехарда, если мы действительно шли и пришли в тыл, как говорили нам сутки назад, когда снимали наши подразделения с утомительного, но все же победоносного преследования отходившего на запад противника? Однако приказ остается приказом, и здесь уж никакая там усталость в расчет не берется - ее нет, и все тут, хотя по делу-то только она одна и была. И кроме нее - ничего.

Выбор пал на нас. Тяжело поднявшись, мы стояли, сонно сопя, ничего не соображая и не чувствуя, кроме разве зависти к тем, кто оставался сейчас в доме. Никто из них не смотрел в нашу сторону, чтоб не выказать невероятной радости везения - возможности вытянуть изнывшие руки-ноги, а может быть, и вздремнуть. Но вот ведь как непредсказуемо все и странно бывает! У них, кому мы так завидовали, всей жизни оставалось каких-нибудь два - три часа. Всех нас было человек сто пятьдесят, и если больше, то совсем немногим. Тогда же казалось около двухсот, и в этом невольном преувеличении повинно, пожалуй, простое чувство самосохранения, а не какая-то там вдруг взыгравшая фантазия или безответственная выдумка - болтовня. Психотерапия, обычное успокаивающее человека самовнушение:

нас много - мы сильны! Ну, правда, это уже где-то недалеко от стадного чувства, но, право же, на фронте бывало и такое, но об этом почему-то умалчивают, не говорят - не то стесняются, не то боятся. И еще одно (это уже из области мистики и математики, если вообще подобный симбиоз возможен): если на войне без жертв не обойтись, то не попасть в это фатальное, неминуемое число жертв - возможность, значительно более реальная в большем количестве находящихся вокруг тебя, чем в незначительном. Вот отсюда-то эти неосознанные, но совсем не злонамеренные преувеличения.

Последний двор деревни, к которому вел нас командир, как объяснил он, передовая (почему передовая, какая передовая в тылу?). Сейчас, пока еще светло, необходимо увидеть все собственными глазами, на случай, если недругу вздумается пойти по этой дороге ночью - мы легко и безбольно его остановим! Ну остановим, так остановим, что там говорить лишнее... Не в первый раз... Пришли. Действительно, это была окраина деревни, дома которой чуть полого спускались к небольшому болотцу. Дальше, метрах в двухстах пятидесяти сплошным скучным валом шла железнодорожная насыпь. Ее однообразную унылость разбивал единственный проезд под нею, или то был мост, под которым протекал ручей. Сейчас не могу припомнить точно, скорее же всего, подробность эта не была выяснена и тогда. За полотном поднималась лоскутная вспаханность полей со скудной белизной запавшего в глубокие борозды снега. Железнодорожный путь скрывал от наших глаз еще одно болото, тянувшееся вдоль него с противоположной от нас стороны, и совсем вдали спокойно темнел лес. Все кругом было тихо и мирно, и никаких признаков врага или какой-либо иной опасности мы не заметили, и, когда на фоне огромного, раскинувшего свои голые черные ветви дерева у дороги мы увидели вдруг солдата, усиленно махавшего нам руками, дескать, "ложись!", кто-то из наших сострил: "Ну да, как же, сейчас разбежимся, мы только для этого сюда и пришли, чтоб ложиться". Раздались даже отдельные смешки солдат, оценивших шутку, и ни у кого не возникло и намека на зловещую изнанку этого доморощенного каламбура, что всего через несколько часов станет явью, вещим, страшным предсказанием. Короткая команда заставила нас горохом рассыпаться по двору и канавам вдоль дороги.

По другую сторону дороги упрятанное ветками, настороженно пригнувшись, вроде чего-то ожидало 76-миллиметровое орудие с распластавшимся вокруг и под ним артиллерийским расчетом: человека четыре, напряженно всматривавшихся в сторону лощины. Тревога была неожиданной,

и эта ее внезапность в каждом из нас откликнулась излишне сковывающей напряженностью, у которой, как говорят в народе, глаза велики. Обдало холодной испариной, внутри неприятно засосало, и мелкий нервный озноб понуждал учащенно дышать. Хотелось перевернуться на спину, вдохнуть всей грудью сырой, холодный воздух и сбить эту предвестницу неизвестно где ждущей, но явной, близкой опасности. Стряхнув вялость, голова работала ясно, не допуская преувеличения, но гнала прочь и излишнюю успокоенность. Однако все вокруг молчало и было, как казалось, миролюбивым.

И опять страшное подтверждение ограниченных человеческих возможностей, или действительно настолько мы все валились с ног, что не воспринимали даже обычного: опасность подтвердили и даже рукой махнули... и тем не менее ни прямо, ни краем или каким-нибудь закоулком чувств никем не ощущалось, что из-за дорожного полотна в этой же тишине, затаясь, с не меньшим напряжением, чем вслушивались, всматривались мы, тоже самое жадно проделывали те, кого мы должны были не пропустить, и они, учитывая все - сколько, где, как готовились к своей акции.

Порою приходится слышать удивительные истории о предчувствии беды, смерти и едва ли не предвиденье надвигающейся катастрофы, и рассказы эти не только воспринимаются, но и звучат в устах очевидцев всех этих вещей, обстоятельств или самих героев, обладающих этим редким даром, убедительно и достоверно. Однако, если и мелькнет некая настороженность, то лишь от чрезмерно подробной доказательности увлажнившегося рассказчика. Здесь же, во дворе этом ничего такого не происходило, а казалось бы?! Сколько прекрасных, молодых, всемогущих, бурлящих жизнью, жадных к ней существ - здесь у всех этих людей, полных не только здоровья, жизненной энергии, обычных физических сил и повышенных нервных, чутких импульсов и реакций (три - четыре месяца фронтовой жизни вырабатывают в человеке этакий "локатор" восприятия всего происходящего вокруг, когда каждая клеточка, пора, даже легкомысленный кончик волоса трепетно, по-родительски подскажет, живо и быстро предупредит, даст почувствовать, где нужно не раздумывая плюхнуться куда ни попало, а где, напротив, можно спокойно пренебречь и шальным роем пуль, и точно высчитанной определенной площадью разрывов мин и снарядов). Ну, правда, это не столько предчувствие грядущего, сколько восприятие сиюминутности, где порою реагируешь, как ранее уже много раз попадавший в подобную облаву затравленный зверь - тогда же не было и этой малости.

Почему ни одного из нас (если существуют эти биотоки предчувствия и ощущений), ни одного, в том числе и меня (правда, обстоятельства оставили меня жить, как и еще трех бойцов нашего подразделения), не захватило ощущение своих последних часов жизни??? Что же все эти россказни - пустая болтовня, ля-ля, давайте попридумаем, чего нет, но уж очень хотелось бы иметь? Не знаю, не знаю... Конечно, можно попытаться объяснить этот глухой тупик душевной отгороженности от мира и от самих себя, но ведь это - только предположение, не больше, которое так и остается лишь неловкой попыткой объяснения. Вот, право, и не знаю, как тут быть? Что говорить, доброе желание присваивать человеку больше, чем это обусловлено его чудесными, невероятными, вызывающими удивление и, собственно, создающими человека и его ощущение чуда жизни, пятью чувствами - похвально, однако жизнь не слишком часто подтверждает наличие этих новшеств, и не могу сказать, чтобы это вызывало уныние - у меня, например, нет.

Многие тысячелетия понадобятся для полного освоения того, что имеет сейчас отобранное скрупулезной эволюцией, современный человек! Куда же больше? С этим бы совладать в меру. Разумно справиться в себе, среде и времени.

Большинство вместе с лейтенантом укрылись в огромном кирпичном амбаре в глубине двора, тянувшемся параллельно дороге. Я оказался в группе поменьше, недалеко от того дерева с орудием. Нам ближе и проще было уйти в другой, поменьше амбар, такой же кирпичный, расположенный под прямым углом к своему большому соседу с разрывом между ними в 6-7 метров.

Внутри амбара было сено, и - разумеется, это так понятно! - быстренько вытянувшись на нем, мы почувствовали, что есть жизнь и что наконец-то мы пришли домой. Однако отдыху не суждено было длиться.

Амбар наш вдруг вздрогнул, как от внезапного испуга, плотная волна воздуха, резко хлестнув в лицо, так же быстро исчезла, оставив по себе лишь запоздалый скрежет скользящей с крыши амбара черепицы и звон в ушах. Артиллерийский расчет умел не только наблюдать, и по этому поводу начали было острить, но с треском ударившая в косяк сарая дверь от второго выстрела орудия недовольно предупредила, что все не так весело, как кажется. Послышались крики: из большого амбара нас требовали к себе, и уже пригнувшись, хотя для этого не было никаких видимых причин, мы перебежали туда. Оттого ли, что стали острее впитывать окружающее, не то два этих выстрела орудия насторожили, но привлек внимание ствол нашей громыхающей пушки - он был направлен куда-то вниз, даже

немного ниже горизонтального уровня. Для нас, уже что-то повидавших на фронте, подобное положение орудия означало, что орудийный расчет просто видит цель и бьет по ней прямой наводкой. Значит враг здесь, рядом. Теперь становилась понятной та поспешность, с которой нас перебрасывали с запада на восток, в противоположную сторону от фронта, и что, к сожалению, для того спринтерского ночного марафона были основания.

Эти мои мысли прервал приход той отдыхавшей в это время другой части нашего подразделения, представив теперь другим возможность ознакомиться со всей этой несколько странной обстановкой и местностью. Наш взвод или наша рота - не припомню точно, короче, мы оказались в двухэтажном доме не то школы, не то почты. Я и раньше часом назад заглядывал сюда в поисках воды, но не видел, чтобы там были какие-нибудь раненые, а теперь их было несколько человек. Даже не верилось. Может быть, я что-то и перепутал, но раненые вот, налицо.

Двое, видно, только что перевязанные, лежали поодаль, и свежесть их бинтов с проступившими на них алыми пятнами крови, как зажженный фонарь для мошкары, в темноте неотступно притягивали к себе, заставляя вновь и вновь возвращаться к ним взглядом. На третьем бинтов не было видно, он лежал пластом, вроде продолжая стоять по команде "смирно", только лежа; он до боли пусто приоткрывал глаза и здесь же снова отчужденно, медленно, как бы бесшумно дыша ими закрывал их. Было видно, что дело худо. Не зная, как в таких случаях поступать, дождавшись, когда он в очередной раз открыл глаза, наклонившись к нему, я спросил: как ты? Тяжело? Что ты хочешь?.. Он не увидел, не услышал меня, но, показалось, еще скупее сомкнул веки, как-то уж совсем медленно и плотнее, чем проделывал это раньше, вроде в последний раз, навсегда... Хотелось схватить, трясти, толкнуть, чтобы еще попытаться вырвать его из власти тихо, давно и терпеливо ожидающей смерти. Обожгло чувством вины: может быть, я своим приставанием невольно ускорил его кончину?.. С испугом и надеждой уставившись в его закрытые веки, я ждал... ждал долго... Они не открылись. Я начал было терять терпение, когда заметил, что грудь тихо... поднимается!!!

- А-а-а, жив, дорогой! - радостно заколотилось внутри, словно он не только останется в живых, но и никогда больше не будет так страшно закрывать глаза, а через какое-то время вообще встанет и разделит с нами необходимость превозмочь усталость (никто еще не знал тогда, что в ожидавшем нас это будет самым малым, едва ли не легким, наивным усилием), будет рядом здоровым, бодрым. И радость крепла, становилась большею, чем

яснее доходила до меня нелепость моего вывода - если человек так закрыл глаза, да к тому же долго не открывает их, значит - все???!

- Не-е-т, не все... живем!

От моей столь бурно вспыхнувшей радости осталось лишь скомканное ощущение неловкости, когда я увидел, как он открыл глаза... и он ли открыл их... они приоткрылись неосознанно, повинуясь лишь великому инстинкту жизни, прорвавшемуся через хаотическое нагромождение поверженной гармонии, чтобы хоть раз, еще только один последний раз восстановить угасающую связь с уходящим от него миром мысли, света и духа.

- Эй, солдат... не мучь его, видишь, он отходит...

- Я хотел помочь ему...

- В этом помогать не надо.

- Я совсем не в этом. Я...

- Ну, вот... и отойди от него.

- Ну, если ты все знаешь, так ты подойди, а то из-за Волги глотку лудить, бревна катить...

- Ты смотри, какой умный... про Волгу знает, а про пеленки давно забыл, засранец?..

И что-то еще несвязное недовольно, про себя бормотал тот человек, но понукал не зло, скорее вяло, устало, безразлично. Я умолк, стараясь вспомнить молитву, которой научила меня баба Васька Шевчук еще на Украине, когда меня, сбежавшего из немецкого лагеря военнопленных (я успел побывать и в этом обездоленном, горьком положении), умирающего от истощения, болезни и душевного шока, рискуя своими жизнями, укрыли, пригрели, отмыли и выходили дорогие моему сердцу украинцы в Каменец-Подольской области (теперь Хмельницкая область). Это конец 43-го и начало, а точнее январь - март 44-го года. Пленен я был под Житомиром 3-го декабря 43-го года. Но об этом обо всем нужно специально, подробно, не спеша. Слушая лишь сердце и благодаря мгновения за восстановление правды.

На столе, запрокинув голову и как-то уж особенно шумно дыша, неловко подпирая себя руками сидел еще один раненый... Ему, должно быть, обязан я в какой-то степени своим спасением тогда. Он, разумеется, не знал об этом, да и не знает, если он остался жить, но, думаю, вряд ли - в ту ночь и после нее выйти из деревни тяжело раненым было совершенно невозможно.

Раненые в жизни фронта - явление частое, страшное, многострадальное, но все же повседневное, к чему привыкаешь. Они, собственно, составляли одну из постоянных частей этой жизни и часть значимую, высокую, но порою такую тяжелую - просто невыносимую. Идет война - они есть, к несчастью, должны

быть, и это никакой не вывод - это страшная суть войны. Однако внезапное появление этих раненых сейчас здесь, черт те где от линии фронта, было не доброй, совсем не доброй приметой, и не я один так считал - по лицам моих товарищей было видно, что встревожены все. Свежая белизна бинтов раненых вопила, кричала, что ребята попали в беду, если не только что, то и не так давно и, скорее всего, недалеко от этого места, где мы сейчас, пытаясь осмыслить увиденное, таращим на них глаза... Да, хотелось хоть что-нибудь знать, и это одно было бы значительно большим, чем знали мы, но спросить было не у кого, никто ничего не знал... Как же так, например, мы за все время ночного перехода ни разу не вступали с противником ни в какое соотношение сил, намерений или настроений. Да мы, вроде бы, и не должны были попадать ни в какие там передряги...

Мы шли себе и шли, и в этом нет ничего такого необыкновенного или непривычного, но однако же... Мы-то шли в тыл, нам так и говорили: вы идете в тыл, чтобы просто своим присутствием, наличием, так сказать, морально давить на "окруженную группировку", которая, видя, что мы здесь и ее дело поэтому просто плохо, в конце концов - сдается - вот и всё! Ну, вот мы и пришли, готовые давить морально, психически, да как угодно, а тут оказывается - обыкновенная война, и к нам попадают раненые из каких-то других частей, которые уже встречались с этим противником и выяснили, что он не очень согласен с тем, что ему уж так совсем плохо и что его кличут "окруженной группировкой". Да к тому же это подозрительно долгое отсутствие санитаров, впопыхах доставивших группу раненых, бросивших их и исчезнувших куда-то, надо полагать, не по личным делам... Значит либо мы, идя в тыл, каким-то образом опять вышли к фронту, что, кстати, запросто могло случиться: попробуй-ка всю ночь едва ли не бегом, дорогой, правда, но в лесу, темно, а порою так и буераками... либо, активно окружая уже окруженного противника, сами ненароком немного попали в окружение, что, естественно, много хуже и скучнее первой половины этого второго предположения.

Как бы там ни было, но все вокруг говорило о противнике, а мы не слышим никакой стрельбы и никаких тебе разрывов, кроме двух выстрелов нашего орудия и то каких-то странных - себе под нос?!

Не могу сказать, чтобы все это было слишком радостным и внушало какие-то повышенные ощущения полноты спокойствия: ведь он же все-таки где-то здесь... Значит, что же? Затаился... Зачем? С какой целью? Где??? И это бы еще ничего - привычно, и мы не раз могли не только постоять за себя, но порою принудить,

заставить понять ту, другую сторону передовой, что каждый может иметь не только силу, но и достоинство, убеждения, права, и не считаться с этим - нехорошо! Но в том-то вся и закавыка, что здесь все было иное, начиная с того, что никто не знал - где и вообще есть ли она передовая, и враг здесь мог быть, которому все нипочем, лишь бы выйти из окружения, да и нам самим недурно бы иметь врага где-нибудь с одной стороны, а здесь все пока неясно...

Нервно перебирая все это в башкенции, я вдруг увидел нечто невероятное - раненый на столе, очевидно, устав ждать или решив переменить положение, повернулся другой своей стороной! У бедняги были сорваны все нижние ребра с правой стороны груди, да, собственно, она вся была срезана, открыта, зияла огромная темная дыра, и при вдохе темно-синяя с перламутровым отливом плевра легкого, клокоча и хлюпая, выходила неровными скользкими вздутиями наружу. Как он терпел?? Не знаю чем объяснить, но крови, как ни странно, было немного.

- Ну где же они! - взмолился он. В голосе слышалось, как он страдает. Не нужно было обладать какой-то повышенной сообразительностью (да такой у меня никогда и не было), чтобы понять, что он ждал и звал санитаров. Нависла тишина... Тишина была неприятной, долгой, нехорошей... За нею даже не скрывалось, а было понимание ее всеми, и всё же все продолжали молчать. Напряжение последних дней и бессонная ночь перехода вытравили душевные силы, и их хватало лишь на то, чтобы каждый стал глуше, скупее в голосе и движениях. Признаюсь, и я бы промолчал, так как сил ну просто напрочь не было, но меня угораздило быть рядом и, проклиная, что всегда это так - все в конечном счете сваливается на меня, - стал оглядываться по сторонам в надежде отыскать кого-нибудь из медсанбата, однако какой-то славянин, подозвав меня жестом, тихо и с досадой пояснил, чтобы я не очень хорохорился: санитары, внесшие их сюда, забрали с собой и наших двоих из санроты, ушли за оставшимися еще где-то ранеными и скоро должны вернуться. Но вот время идет, а их что-то нет и нет... Так что ты не вылупливайся, а угомонись, так будет лучше... тебе... ему... да и всем.

- Кто-нибудь... перевяжите меня... я умру! - уже прокричал раненый на столе. В общей сутолоке его, должно быть, не очень-то и слышали - оправдывал я себя, всех и эту ненормальную, надсадную тишину, а кто и слышал, не знал, как и что делать в этом редком случае. Я продолжал стоять самым близким к нему и испытывал страшную неловкость от невнимания всех к его горю,

но меня уже одернули, выговорили, что я суюсь не в свое дело, и я молчал, но, видя, что он вдруг учащенно задышал, и боясь, как бы этот измученный болью и страхом мир не взорвался в исступлении и безысходности и, израсходовав остаток сил, не угас бы одиноко среди множества разбросанного на полу люда, подошел к нему.

- Потерпи, дорогой, видишь, здесь из медроты нет пока никого... все молчат... не знаю, как и чем помочь тебе... - Я дотронулся до его руки. Теперь, должно быть, уж скоро придут.

Он поднял дикие глаза и, также хлюпая легкими, остановился взглядом на мне, как если бы вопрошал, ждал, что я скажу что-нибудь могущее успокоить его. Что я мог сказать, я молчал, продолжая равнодушно, как бы совсем безразлично смотреть вареным судаком, кляня про себя и минуту ту, и его лихорадочные глаза, и что опять я туда куда не следует полез, и что я такая тряпка, а главное, что опять, опять не отдохну и что черт меня дернул оказаться именно здесь - на этом, казалось, более свободном месте. На самом же деле, увидев этих раненых, все расползлись по углам и стенам, чтобы избежать хлопот-забот о них, и, в общем-то, это понять можно - все валились с ног, и я устал не меньше других, но как-то наивно предполагал, что будем делать все вместе - сообща и быстро, и никому тогда не будет в тягость, уже хотя бы потому, что каждый из нас мог тоже оказаться в подобном положении, а может быть, оказаться в худшем. Однако жизнь распорядилась иначе.

Он продолжал сверлить взглядом, и, казалось, этому не будет конца. Я был близок к тому, чтобы прервать это насилие и сдаться, но тут дало себя знать то, на что я никак не мог рассчитывать в ту далекую пору - сработало, должно быть, врожденное, гены, и я ни с того ни с сего, вроде у меня не колотило во всех висках, так же безразлично-сонно глядя на него, спросил:

- Ты что смотришь, узнаешь, что ли, меня? Я тебя не знаю, например, не помню, из какого ты батальона, или ты не наш?

Видя, что вроде недурно получается, и осмелев, уже пытался я ухлопать двух зайцев: и подозрение его отвести, и какая часть, откуда и что случилось с нею разузнать. Однако он был совсем не дурак и откровенно недобро смотрел на меня.

- Мне просто даже неудобно, я думаю, ты перепутал что-нибудь, мы только сегодня пришли сюда, так что видишь...

Без труда в нем можно было заметить, как безуспешно он боролся с полным недоумением в самом себе. Какое-то время он продолжал, как и раньше, смотреть на меня, вроде оставляя мое актерское выступление без всякого внимания, затем, очевидно,

решив переменить подход к этой задаче, совсем по-другому осмотрел меня всего. Кажется, в нем промелькнуло сомнение: уж не идиот ли перед ним. Плуг был глубоко, и я пахал свою борозду:

- Нет-нет, ты ошибаешься, я, например, тебя не знаю.

Я видел, что он готов и очень хочет верить, но не хватает лишь йоты, капли.

- Ты перевяжи, - сказал он тихо-тихо, - у тебя получится. - Казалось, сжалился он, а может быть и действительно поверил, что ничего такого страшного я в нем не заметил и у него еще есть надежда выжить. Я, чувствуя, что удается, теперь уже бесстыдно, но все так же скучно уставился в его разверстую грудь и чувствовал, что он в это время изучает меня не меньше, чем раньше.

- Не смею, боюсь, у тебя же вона-а какая царапина... не страшно, но не просто, совладай-ка с ней, например, попробуй. Ан не в раз, здесь прилежание, как в школе, подавай тоже, а то, неровен час, и повредить недолго, - болтал я что-то такое, чтобы уйти от его пристального взгляда. Слава Богу, что еще ничего не задето, открыто и все... Можно сказать, повезло тебе, парень, потому-то они тебя и не перебинтовали, должно быть... Подождет, дескать, ничего, других-то вона как, что твои дети в пеленках лежат, замотали так - где начало, где конец, не найдешь.

- Думаешь, не страшно, пронесет? - не сразу, но жадно цеплялся он.

- Чего тут думать, и не собираюсь заниматься этим, вижу просто, потому-то они и махнули рукой на тебя, - сказал и уж потом сообразил, что это можно понять двояко. Осекшись, я не сразу обрел уверенность и нужный тон и стал нести совсем уж какую-то жуткую ахинею, вроде: "а теперь, не умеючи, поди-ка попытайся и не сразу, не вдруг, - школа нужна, навык". Он молчал. Скажи он хоть слово, и я бы уж теперь законно перевел разговор на то, где это их всех так угораздило, но он только настороженно, вопрошающе смотрел.

- Ну давай попытаемся, попробуем, хотя честно говоря - боюсь, никогда не делал этого... ты пока потерпи, брат. Запрокинь голову, как ты сидел, тебе так легче, кажется, было... - И этого говорить не следовало, и он это понял и совсем по-иному, недобро, подозрительно смотрел на меня, устав, должно быть, от непонимания, кто же в конце концов перед ним - слабый, доверчивый, "без царя в голове" придурок, пентюх или затаенный, вероломный, все видящий и понимающий дьявол??? Ему было над чем подумать, впрочем, это не лишним было бы и мне.

- Давай, запрокинь, запрокинь... я же видел, как ты отдыхал

давеча, от меня, брат, ничего не скроешь, я всюду, я всегда, я царь, я... брат, я червь, и не думай, что я дурак дураком, все замечу, все учту, потому что я был, я есть, я буду... потому что я... этот.. этот... никакого винограда, конечно, не получишь... но голову запрокинь... эта поза называется Вайнтрауб... нет-нет... мелкий блок... запрокидывай, вот так! - тут же вовсю командовал я, понимая, что хоть и проговорился, но теперь, чтобы выстоять, нужно продолжать тянуть одну и ту же линию. Был какой-то момент, когда показалось, что он вот-вот спросит, сколько лет мне, откуда и кто я такой, но, боясь должно быть совсем запутаться, где правда, а где ложь, глубоко вздохнул и закрыл глаза - смирился, я доконал-таки его, но больше - самого себя, помнится.

- Ребята, эй, не спать... У кого индивидаль... индуваль... идивидидаль... - Слово "индивидуальные" не давалось. - У кого бинты, пакеты личные есть, дайте, тут солдату необходимо, - уже едва ли не нагло, громко кричал я, на радостях, что избавился от пытки, но больше от того, что под личиной необходимости сгустить краски для успешного сбора пакетов, могу наконец сказать правду. Оказывается, все эти мои манипуляции наблюдал наш лейтенант и одним из первых протянул мне пакет.

- Помоги, помоги ему, сержант... все правильно.

Откуда только силы берутся - подбодренный я носился по дому, как хорошо выспавшийся, отдохнувший бегун какой-нибудь, ну, правда, это самочувствие такое было; внешне же я не очень, наверное, подтверждал то состояние души, не случайно кто-то, протянув пакет, крикнул: "Эй, доходяга, вот возьми!" Но это все мелочи, важно, что у меня уже было полно пакетов, и, увидев, что мой раненый смотрит, как я все это проделываю, строил ему в ответ веселые рожи, показывая кучу прекрасных, запечатанных пакетов: живем, дескать, совладаем и с этим, ты только потерпи, брат! Невероятно, показалось - он улыбнулся.

И опять вспомнился Вайнтрауб и его это совершенно непереборимое "жить и радоваться жизни", почему-то его нигде не видно. Наверное, в штабном доме где-нибудь... хотя здесь тоже офицеров пруд пруди и он мог бы быть здесь, но вот пока нет нигде. Наконец я приступил к перевязке и волновался так, словно это я сорвал ему грудь. Да-а-а, дело-то это оказывается совсем не простое и много всяких непонятностей, вопросов: рана немалая - пакеты небольшие, надо сшивать и опять шарада - дотрагиваться до стерильной поверхности нельзя, и края раны необходимо каким-то образом промыть, продезинфицировать откуда-то появилась кружка не то со спиртом, не то с несколькими глотками водки... и снова загадка: как и чем прикрыть саму рану,

а то ведь можно вместо помощи еще больше повредить. В общем, я изрядно попотел, кто-то издали корректировал, подсказывал, но помочь никто, к сожалению, не помог все сидели, лежали, сопели, храпели, но... то ли врожденная крестьянская жила - все делать так, чтоб уж потом сто раз не переделывать, то ли ответственность дела сказались, а может быть, то была одна из прекрасных минут жизни и созидания ее, - не знаю, что там такое было, однако перевязка с трудом, но получалась, выходила, и я радовался и не мог скрывать этой своей радости. Меня всего маленько колотило, знобило, в глазах колики появились, и мой раненый, недоумевая, что это со мной происходит, уставился в меня и опять тихо спросил:

- Ты что?

- Знаешь, кажется, получается, вот меня и трясет от радости.

Он смотрел строго, серьезно и я даже подумал, что он хочет спросить: кто же я все-таки, откуда, из какой части, но он не только не спросил, но я увидел, что, находясь во власти своих мыслей и болей, даже не видел меня, а через малое время вообще забыл бы меня и мое воспаленное лицо и жар, в который меня так неожиданно бросило, если бы события несколько повременили со скоростями... Перевязать до конца не удалось.

Автоматные очереди с противоположной стороны улицы, истерически захлебываясь в шальном азарте, прорезали окна и двери нашего дома. Такого не ожидали. К счастью, никто не пострадал, однако, все повскакивали, готовя оружие:

- Спокойно, оставаться на местах! - Наш лейтенант был не молод и в свои двадцать восемь - тридцать лет был завидно уравновешен. Я легко уговорил моего раненого спуститься на пол под подоконник только что расстрелянного окна, и он, как переломанный в пояснице, тяжело опираясь на мою руку, осторожно посылая себя в сторону каждого шага, медленно перешел туда. Ему, наверное, было много хуже, чем казалось. Очевидно, я имел дело с редко сильным человеком.

Где-то недалеко спеша, вроде стараясь опередить друг друга, разрывая тишину ранних сумерек, взрывались мины. Колотило долго, жестоко. Слышались не выстрелы, а разрывы - значит, били не мы, а другие нас. Да и по внезапности, жестокости налета это тоже не могли быть наши... Злорадство и спешная плотность артналета вернули нас в жесткие будни передовой. Что происходит? И что же наши? Где они? Почему молчат? Может быть, я не разглядел, но, кроме той пушки, я что-то не приметил, чтобы у нас была еще какая-то артиллерия. Да-а... дела! Не шибкие. Совсем не шибкие. Отдых, к которому с надеждой шли и ждали, не начавшись кончился. Теперь мы должны быть там, это

понимали все. Однако лейтенант, подпирая спиной стену, пусто смотрел перед собой. Я, ожидая, когда мой раненый расположит себя на подставленный ему ящик из-под боеприпасов, заметил, как некоторые солдаты скрыто поглядывали на лейтенанта, боясь своими взглядами напомнить командиру, что - пора.

Заканчивать перевязку на полу было неловко, не с руки, ко всем другим трудностям теперь прибавилось еще и стена - она просто мешала, и я все делал, но получалось все страшно медленно, но никто не понукал, не подгонял - все ждали.

Как-то страшно вбежавший связной негромко, но, судя по всему, что-то неприятное сообщил лейтенанту, тот дернулся, отвернулся к стене и какое-то время вроде безучастно сидел боком. Лица не было видно, и что поразительно не хотелось, чтобы он поворачивался, вообще было неловко смотреть в его сторону, стало вдруг тесно, хотелось глубоко вдохнуть. Я проглядел, когда лейтенант встал, но, увидев его, на мгновение не поверил своим глазам - он был бел как известка.

- Пошли и мы, - тихо сказал он.

Все слышали, понимали, но остались как были.

- Взвод, встать! - так же негромко скорее проговорил, чем скомандовал лейтенант. Чтобы выйти, он должен был пройти мимо меня и уже на ходу бросил: - Догоняй!

И все это многоликое, но в чем-то очень схожее один с другим скопление людей двинулось в свой последний путь.

Санитары не появлялись, и мой раненый, поняв, должно быть, что они и не придут, стал совсем отрешенно тихим - смирился, однако, увидев, что я собираюсь уходить, взял мою руку и, помолчав, попросил воды. И когда я, раздобыв ее, вернулся, он, устав от боли, или все же сказалась потеря крови при ранении, впал в полузабытье. Другой так же послушно вытянуто лежал под лестницей, но глаз больше не открывал. На грудь его не глядел - боялся. Двое, что смотрелись близнецами, также тяжело и основательно лежали "затонувшими бревнами" и помочь им чем-нибудь конкретным, кроме как подать воды или свернуть цигарку, я не мог, да они ничего и не просили, а лежали себе, никого не обременяя, и все вокруг им было нипочем, его для них просто не существовало. За стенами дома перестрелка не унималась, и пули то и дело, не встретив никого на своем пути, в бессильной злобе залетали в наше помещение, сердито отбивая штукатурку со стен. Надо было идти. В возвращение санитаров я не верил (уж очень долго они не появлялись), а теперь я просто знал: с ними что-то случилось, в любом другом случае они были бы здесь. В доме еще оставался какой-то штабной люд: группа офицеров и человек двадцать саперов, связистов. Попросив посматривать теперь уже за моими пострадавшими, я вывалился за порог и тут же уткнулся носом в какую-то каменную или чугунную тумбу, служившую, очевидно, когда-то основанием для парадного фонаря. Теперь времена иные и много удобнее и надежнее обходиться без всяких подсветов. В полутьме сумерек мелькали темные силуэты. Кто такие, определить было трудно. Никого не окликая, чтоб вместо ответа не получить в живот очередь из автомата, перебегая от одного дома к другому и сам превратившись в одну из мелькавших теней, я быстро добрался до знакомых амбаров.

Дальше все пошло, покатилось, стремительно нарастая, переплетаясь, завязываясь в сплошной клубок боли, нервов, озверелого ожесточения, смертей, невыразимо тяжелой, давящей тоски, отчаяния и черных провалов тупого безразличия ко всему происходящему вокруг и к самому себе, словно впереди предстоит прожить еще три-четыре сотни жизней и этой одной, такой рваной, нервной, не сложившейся, можно, пожалуй, сейчас

и пренебречь, потому как уж очень тяжело и долго, мучительно. То все вдруг уходило за внезапной, буквально вламывающейся, невероятной жаждой выжить, выстоять, не пустить: вы претесь, ломитесь, вам непременно надо пройти - это понять можно, мы сами иногда лезем черт-те куда на рожон, однако в подобных случаях мы больше во власти жертвенности, исполнения долга, но никогда не истребления всего вокруг - никогда! Нет, голубчики, не такой ценой! Вы что-то перепутали или не додумали. Но так нельзя! Не надо! Не надо!

Те давно ушедшие часы представляются мне сейчас какой-то беспрерывной спешкой к единому, уже предопределенному, неуклонно тянувшему к себе концу. Могло лишь показаться, что среда и время все еще пребывали в том соответствии, которое несет в себе надежду на то, что еще многое впереди, все будет, и поэтому никто не заметил уже случившееся.

...Неясные, темные пятна вытягивались в неровную полосу, и она, изгибаясь, собиралась, сгущаясь до черных провалов на фоне снега и вновь распадалась на отдельно бегущие группы.

- Опять гости!

- Ох, видно, немало их там, за полотном!

- Почему за полотном - тебе их и перед ним хватит.

- Мне их хоть бы век не видать и не слышать ни одного, так не очень бы...

Быстрые, нервные вспышки за насыпью железной дороги то тут, то там четко высветили ровную черную границу ее. Начинается!

- В укрытие, в укрытие!

Мы ринулись в амбары. Через полторы-две минуты они будут здесь. Только бы вовремя залечь после налета, иначе...

- Проверить оружие!.. Гранаты наготове?

Писк, вой, скрежет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стукоток осколков, пыль и осыпающаяся земля с развороченного потолка амбара. Видно, не на шутку взялись, надоело цирлих-манирлих разводить...

- Приготовились!

Невольно разбившись на две группы, тесно прижавшись друг к другу, одни по одну сторону дверей, другие - по другую.

- Сейчас он перенесет огонь в глубь двора, и вы, - указал на нас совсем незнакомый какой-то человек, - всей оравой налево между сараями! С вами будут еще из того сарая с лейтенантом, а вы все со мной... - И без того, кажется, надорванный голос его потонул в неистовом грохоте разрывов, амбар трясло, с потолка уже валилось и, казалось, в следующее мгновение, не выдержав, он рухнет. Было нечем дышать. Несколько мин со страшным

ревом взорвали черный снег у наших дверей, обдав нас вонью взрывчатки и жженого металла. Вдруг три-четыре быстрых острых вспышки и грохот орудия рядом. Всех отбросило, прижало к углам...

- Молодцы, братва! - орал кто-то из угла.

Я не мог пробить горло от пыли, душил кашель. Кто-то пытался колотить меня по спине...

- Пожа...лей, бра... з... здесь ви... вилы... о-осторож...

В следующее мгновение весь двор превратился в ослепительно яркий, взрывающийся мир... Все ринулись к дверям. Вспарывая темноту, ракеты снопами взлетали за нашим сараем. Ночь уступила место страшному карнавалу. Тени амбаров, огромного дерева метались в дьявольской пляске, наскакивая одна на другую. Двор стонал от разрыва мин и визга осколков.

Незнакомец, осторожно высунувшись из ворот, напряженно всматривался в сторону большого амбара. Мы стояли, дыша друг другу в шеи, плечи. Вытянутая рука незнакомца слегка дрожала, как бы говорила, сдерживая нас: сейчас, сейчас, потерпите!

- Пора. Пошли-и!

От большого амбара бежала группа наших, человек восемь... Лейтенанта не было, не увидел...

Надсадный ор из лощины. Бегущая темная полоса с лихорадочной перекличкой вспышек автоматных очередей. Тряска приклада... Рядом, справа, до боли в ухо глушит автомат соседа. Ничего не слышу... надо бы отползти... Пытаюсь спустить ухо шапки. Где-то за спиной бешеный хоровод взрывов и истерический визг осколков над головой... Стоявший за углом амбара чей-то темный силуэт выронил автомат и медленно сползал вниз.

- Ах, мерзавцы, что творят, что делают?

Комки земли, камней сыпались не переставая, осатанелый, сплошной вопль летел снизу нарастая, и пляска светляков автоматного огня, устремившихся на нас, была близкой. Вой пропадал в остервенелом хохоте наших автоматов и опять истошно врывался в сырую темь ночи, когда руку сводило острой болью судороги и немалых усилий стоило распрямить искореженные ею пальцы. Темнота, устав скрывать, быстро приближала к нам мутно-серые пятна орущих лиц. Их много - огромная колыхающаяся гряда, уже слышно тяжелое дыхание бегущих и топот ног.

- Гранаты, гранаты!!! - разрывая хаос звуков, неслось из-за амбара в темноте. Слева исступленно, с силой махали руками. Вскочив, далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой, момент высматривал место нужнее - вторая полетела за первой.

Гранаты еще не долетали до цели, но сдерживали, останавливали от вала, приступа, в котором они неслись на нас. Автомат справа, глушивший меня своей близостью (его хозяин лежал за большим металлическим колесом, еще мелькнула досада - моя булыга так не защитит, как его колесо), вдруг смолк, и только эхо его резкой стучащей скороговорки продолжало колотиться в ушах. На короткое мгновение, приподнявшись на руках, сосед (не помню его фамилии - он из старожилов, все они были не словоохотливы и с нами, "сосунками", не очень-то общались), неподвижно уставился в темноту, ожидая что-то и вдруг, вроде отрицая все на свете, замотал головой, кровь ручьем хлынула из носа и рта, и он рухнул.

- Эй, эй, эй! - Я полз к нему и орал, словно ошалелый крик мой оставит, задержит жизнь. Развернув набок вздрагивающее, размякшее тело, понял, что все закончилось - тепло, накопленное жизнью, вместе с кровью покидало его. Глаза заволакивала мутная пелена, и они остались вяло прикрыты. Кто-то кричит? Кто и где - не пойму! Тащу из-под него автомат, весь в липкой теплой крови с комками земли и снега. Кажется, сейчас, отплевываясь, он заорет: ты что, обалдел, что ли? Вместе с ремнем вытягиваю руку, и она, рвано вздрагивая, вдруг совершенно безразлично отпускает автомат... Весь диск изжеван попаданием роя пуль. Опять крик, но откуда, кто и что кричат понять не могу. Странный, "фырчащий" звук над головой... Какое-то мгновение сознание ничего не фиксирует - его нет. Что - все?.. а, вот опять вижу, слышу... Рву затвор на себя - привычно напрягаюсь, как палка, ожидая напор давления выстрелов... диск пустой! В низине частые беспорядочные взмахи рук и опять этот "хромающий" звук летящих на нас их на длинных, деревянных ручках гранат... Некоторые, в шальном азарте бросить прицельно и дальше, вскакивали в полный рост. Какие-то неясные быстрые тени, скользкими силуэтами метнувшись в сторону, исчезли, оставив загадку и вопрос: показалось или было? И что это? Опять разрывы, но много дальше перестарались, слишком подползли, наверное... В них уже вызрела уверенность, решимость: вот сейчас, уже в следующее мгновение расстрелять в упор, смести, стереть, убрать. Отрывисто и гортанно, нагло громко, вроде пытаясь догнать что-то, пронеслось в долине по-немецки, темная полынья, вскочив, ожила... вопль с каждой секундой усиливался, набирая силу, черная масса, неистово вдруг взревев, колыхнулась и бросилась на нас!

- ОГОНЬ! ГРАНАТЫ! ГРАНАТЫ! - раздирал темноту и нарастающий ор хрип за спиной...

Одна за другой летели они навстречу орущей, обезумевшей

бледной темноте... Но и это уже не спасало нас.

Все. Конец.

Вдруг огонь, грохот орудия рядом. Ошалев от отчаяния и мелькнувшей надежды жить, мы дурными, истошно-дикими голосами тоже что-то такое вопили, отдаленно напоминающее "ура". Черная лавина внизу сбилась, распалась на части, вой оборвался, кто-то ринулся в снег, кто-то повернул бежать обратно, основная темная масса в растерянности топталась на месте, казалось, обиженно смотрела в нашу сторону. Орудие разразилось еще четырьмя-пятью едва ли не слитными в единый залп выстрелами; лежа, мы завыли уже более определенно и внушительно. Более дикого ора в жизни больше не слыхивал... Уж не виделось бледно-серых размытых лиц и черная плотность распадалась на нервные черные дыры, быстро разрывая себя, тая во тьме. Они бежали. Надолго ли, но деревню пока отстояли. А если удалось бы совладать с собой и легкими и осторожно схватить ими воздух, так, чтобы их не разорвало - то, может БЫТЬ, и саму жизнь. ТЯЖЕЛО. Ком земли или снега, ударив, рассыпался здесь же, возле меня. Оглядываюсь - у амбара, уставясь в меня, лежит солдат.

- Ты ранен? - ору я ему.

Тот зло, без звука широко открыл рот, вроде показывает, какой он у него большой, и быстро захлопнул... Опять как бы чего-то продолжал ждать от меня.

- Ты ранен, что ли?! - недоумевал я.

Он резко вбок мотнул головой и нетерпеливо, коротким взмахом руки потребовал меня к себе. Ползу...

Здесь я должен несколько отвлечься. Сперва солдат тот сказал мне слова, которые я сам знал довольно хорошо в ту пору и даже, наверное, порою высказывал вслух некоторые из них, однако, помнится, чаще приходилось выслушивать и... что говорить... слова эти безусловно расширяли возможности воздействия великого русского языка, но расширяли... сюрреалистически, что ли... в общем, уродливо, какой-то опухолью, отростком в котором перемешивалось все и вся настолько, что выходило, например, так, что этот орущий на меня ни с того ни с сего человек был не только хорошо знаком с моей родней, но и был наделен какими-то столь совершенно неограниченными полномочиями, что мог запросто отослать меня отсюда к ней, то есть к моей родне! На самом же деле это была полная чушь, не имевшая под собой никакой основы, надо же все-таки соображать и учитывать обстановку вокруг, а она была и оставалась совсем не для родственных встреч и связей. Да и сам он, наверное, в глубине души понимал несостоятельность всего

того, что так необдуманно в сердцах наорал мне; это было видно из тех слов, которые произнес он, перейдя на обычный, здравый человеческий язык без всякого "сюра":

- Оглох, что ли? Они здесь за сараем, к пушке подбираются... Сержант приказал идти к нему, - четко выговаривал он мне в самое ухо, а я с удивлением слышал его тоненьким писком комарика на фоне все еще клокочущего в ушах стука автомата и каких-то отдельных, остаточных выбросов его "сюра".

- Ага, понял, пошли! - кричал я обрадовавшись, что понимаю и меня понимают и ничего расшифровывать не надо. - Да-да, я видел... видел с нашей стороны амбара, по-моему, их не больше пяти-шести.

- Это мы сейчас узнаем, только не ори ты.

- Я же не по-немецки ору, они если и услышат, так все равно ничего не поймут - в школе русский не изучали... не то что мы: "гутен морген, вифель ур".

- Да заткнись ты, наконец...

- Это я от радости, что мы победили... у тебя диска лишнего нет? У меня все...

Мы бежим вдоль маленького амбара, на бегу он сует мне, чувствую по весу, неполный рожок. Радость и огорчение вместе: еще покажем что по чем, постоим за себя... неправда ваша... поживем. Жаль - рожок... в нем вдвое меньше, чем в диске, да еще и неполный к тому ж.

Воистину нужно было обладать недюжинным запасом душевных сил, чтобы продолжать жить, видеть, говорить, чувствовать после случившегося в ту ночь, и хоть никто не знал, да и не мог знать, что барьер перейден, кризис миновал, но все, что суждено было пройти оставшимся в живых, было невероятным настолько, что преодолеть его было под силу лишь совершенно бездушным или таким, какими стали мы к исходу той долгой ночи.

Орудие, точно оно "сорвалось с цепи", изрыгая огонь, яростно и гневно посылало в темноту: "Не надо, не надо больше ходить сюда ночью!" Это были его последние выстрелы. Не понимая, что происходит, и опасаясь, как бы по ошибке нас не приняли бы не за тех, но больше, наверное, от неожиданности мы ринулись на землю. Но все было правильно - орудийный расчет тоже видел прорвавшихся, и теперь расстреливал землю за малым амбаром в надежде остановить и не дать им закрепиться за стенами, проникать дальше. Но здесь случилось то, что должно было рано или поздно произойти - вскочив во весь рост на лафет орудия, раздирая ворот гимнастерки (шинель сбросил наверное, чтоб легче было управляться), исступленно потрясая сжатыми

кулаками, орал единственный уцелевший из расчета боец. Не верилось, чтоб он в одиночку с такой скоростью мог выпустить целую обойму снарядов.

- Тебе сюда надо, иди убивай, сволочь, я здесь, на... на... давай!

Все произошло мгновенно, внезапно, лишая нас возможности вмешаться, остановить... но, правда, какая-то шинель (или то казалось) тенью метнулась к орудию, но и это было поздно: ответ последовал без раздумий и пауз приглушенная, нагло короткая автоматная очередь в упор из-за угла амбара... Парень на лафете нелепо отбросил руки, вроде не умея, но все же решился нырнуть, подался вперед и всем своим измученным телом обрушился на орудие, повис на его щите, издав при этом нелепое: "а-а-авв!" Руки не доставали до земли и как бы сожалели об этой малости, они вздрагивали, тянулись, замирали, опять тянулись... и застыли.

- Гранаты, гранаты! - надсадно хрипело рядом. И - придержи на раз, на два! - выдернув чеку и отбросив руку в сторону, мгновение стоял, замерев... и с силой швырнул гранату за амбар.

- Через крышу давай, через крышу... не тяни! - требовал он, и в его надрывном хрипе звучала жуткая радость, что ему это уже удалось.

- Только придержи, придержи. Не раскисай, ребята!

Отбежав друг от друга, мы с лихорадочным проворством выдергивали кольца, отпускали рычаги и, зажав живую смерть в застывших кулаках, высчитывали секунды, посылали круглые чугунные лимонки за крышу и торцы нашего спасительного укрытия, слыша в ответ суматоху их разрывов за амбаром. Они хотели нашей смерти, они шли с этим и смели бы нас, все к тому шло, но тот парень на орудии был не так слаб, как казалось. Он сдерживал основную лавину, но, оторвав своих убийц от общей массы, к сожалению, не смог только одного - скрыть, что все было последним, и снаряды, и нервы, и самообладание. У нас не было выбора. Наши гранаты не позволили прорвавшимся к амбару сообщить залегшим в снег, что орудие теперь будет молчать, и только это избавило нас от их последнего приступа. Их обманула плотность разрывов наших гранат, по ней никак нельзя было предположить, как близко были они к своей цели. Мы не могли уступить в этом положении без выбора (к этому моменту нас осталось только девять человек), мы должны были!..

- Все, чисто... - выбегая из-за амбара, бросил деловито все тот же хрипун. Им оказался сержант, что был с нами в амбаре во время их артподготовки (не знаю ни имени его, ни фамилии, он был не то из первого, не то из третьего взвода).

Пустовато, редко было, да к тому же двое раненых, один из которых был просто плох. Оставшиеся ошалелыми глазами упирались один в другого, молча спрашивая: "Ты здесь?.. Хорошо... Ну вот и я, видишь... А, и ты здесь, друг, славно!!! А где... Вот ведь как..." Однако каждый в душе надеялся, что еще подойдут, соберутся, забыв, что сами уже подошли и собрались. Никто не говорил, не спрашивал, все рвано дышали и, заведенно шатаясь, не в состоянии остановиться, топтались на месте. То один или несколько, случайно объединившись, растворялись в темноте и тут же возвращались, также тяжело дыша, вроде там им приходилось бежать, а вот теперь и пешком пройтись можно, подышать свежим воздухом. На глаза все время попадались два "гиганта" и одного так бил надсадный кашель, выворачивало наизнанку, что казалось: вот тут-то уж с ним будет окончательно покончено, несмотря на его могучую стать. В общем, на победителей мы не походили, и если отстояли деревушку и дорогу, то просто чудом, случаем. И не скажу, что было тяжело - нет, это слово не в состоянии определить то, что пришлось перенести.

Невозможно, невыносимо - был какой-то душевный столбняк, шок.

Ушло время, вообще ничего не было, кроме мятущегося сердца с короткими, как уколы, проблесками сознания. Напрочь были забыты боль, страх, смерть, сами мы. Мысль, осознанность вообще надолго уходили и только позже, вернувшись, отметили четкостью и остротой все виденное, прочувствованное, пережитое.

- Мужики, гранаты остались? - Голос звучал тихо, ровно, не раздражая, почти без хрипов. Я был поодаль, но сразу узнал его и все слышал четко и ясно.

- У меня одна.

- Две.

- У тебя?

- Да откуда, что я, делаю их, что ли...

- Тоже нет ничего...

- А у тебя? Чего молчишь?

- Есть... этого добра навалом - вон в ящиках, хватит на всех. Жизни нет, а это-о-о...

- Вот это дал, философ! Ты сейчас-то жив только благодаря им, дурило. Гранаты есть - жизнь будет! Здесь, брат, все взаимосплетено - не разрежешь, не порвешь... Не до жиру - быть бы живу.

- Да какая же это жизнь?!

- Не пойму, тебя контузило что ли?

Я слушал их и недоумевал: они так же, как и я, всего полчаса тому назад случайно остались живы, а теперь спорят, "отстаивают свои взгляды" на эту и сейчас все еще на волоске висящую жизнь. Случись спор этот в любой другой обстановке, я не обратил бы на него никакого внимания, но оба они были столь серьезны, что я не мог, хотя бы молча, не принять участия в этом с виду простом диалоге. Говорили о жизни! Ох, как хотелось жить - невероятно! Все чувствовалось обостренно, должно быть, оттого, что каждый момент мог стать последним.

Непонятный, непривычно слабый, похожий на крик подбитой птицы, тихий, несколько раз долетавший до нас звук утонул в промозглом воздухе ночи... Все замерли, прислушиваясь.

- В амбаре... раненые или куры.

- Нет здесь никаких кур.

- Да раненые же, слышишь, стонут!

- Раненых забрали всех.

- Тихо вы... Кто-то у пушки!

- Кто же это их успел забрать?

- У пушки был... да сплыл. Теперь наша очередь!

- Да замолчишь ты, наконец! Может быть, это условный знак у них! Вы оба и ты - можешь или уже нет... туда, в проем между амбарами, вы втроем и ты пошли со мной... а-а-а. - И он диковато оглянулся, только сейчас, казалось, осознав - до чего нас мало.

- Да-а, не густо! Тогда оставайся здесь и свяжешь, если что.

- Тихо... Слышите?... Стон, явный стон!

Звук одиноко опять прорезал настороженное затишье. Плач?.. Не похоже! Может, домашнее животное какое ранило, вот оно и стонет!

- Какое животное... кроме тебя другой живности здесь нет.

- Смешно, молодец... а, главное, вовремя и по делу!

- Цыть, какие вы, право!.. Кто-то плачет!

- Что здесь, детский сад, что ли?

Здесь опять последовали словеса, которые по смыслу (если, конечно, позволить себе вольность - предположить наличие в них какого-нибудь смысла) ну уж совсем не подходили к данной ситуации, поэтому я их и опущу, но вот ведь какая петрушка: должно быть многослойность, что ли, тех изречений подействовала отрезвляюще, и все как миленькие затихли, застыли, напрягая слух, стараясь уловить малейшее, что выпадало из плотной толщи ночных шумов, но никто ничего не слышал, кроме разгула потаенной жизни ночной тишины, собранного воедино гигантской раковиной, образованной амбарами и темнотой. Тишина мстила за долгое пренебрежение к ней, и стоило теперь лишь осознать и почувствовать, что все

погрузилось в тишину, как она буквально обрушивалась шквалом шорохов и всевозможных шипов и скрипов. Мучительно хотелось освободиться, избавиться от этого пресса.

- Ребята, я знаю... - робко прозвучало рядом...

Если бы нежданно-негаданно нас обдали ледяной водой или под нами ходуном вдруг заходила бы земля, то эффект от этих катаклизмов был бы не большим, чем от той тихо сказанной фразы. Когда первое обалдение прошло и действительность стала ясной и близкой всем, конечно, захотелось развернуться и дать как следует, чтобы в другой раз не повадно было так некстати высовываться со своими знаниями, и, если ничего не дали, то только потому, что плохого-то он, в общем, ничего не хотел.

- Что вы все дергаетесь, как белье на веревке, что такого ужасного я сделал? Сказал, что знаю, кто орал - и все... Немцы не забрали всех подстреленных, вот они и подают сигналы, но кричать в голос боятся, чтоб до нас не долетело, правильно кто-то говорил здесь.

Довод был убедительным и все помягчали, примолкли не зная, что делать, как поступить? И присмиреешь, задумаешься, есть над чем - все не просто. Когда он перся с автоматом, орал, хотел убивать и убивал - это одно; теперь тишина, никто не стремится ни голову размозжить, ни свинец всадить в тебя это уже другое, иной коленкор... Стон, как вздох, раздавшись, избавил нас от размышлений...

- У пушки! - Опрометью ринулись туда. У разводной опорной станины (не знаю, как точно называются эти две длинные трубы, которыми орудие упирается, чтобы во время стрельбы не откатываться и не становиться на дыбы), на снегу спиной к нам сидел солдат... И было непонятно - ранен он или цел? Но с ним было худо, и это виделось даже в темноте: руки неожиданно взбрасывались, как бы желая задержаться на лице, и тут же вяло, тряпками падали вниз. Сержант помог ему удержать кисти рук у подбородка.

- Хочешь голову поддержать? Нужное дело. Давай вместе! - Однако результат был не большим, если б все то же самое проделали с манекеном или чучелом. Было неловко видеть его, ушедшего во что-то такое, куда не хотелось бы заглянуть... Между ним и нами была разящая пропасть. Было жутко и неприятно от того, что его самого напрочь здесь не было. Кто-то протер ему лицо снегом, сержант с силой несколько раз "взболтнул" его, держа за плечи все было напрасным, наши домогания и вопросы он попросту не замечал. Он был страшно далек от того, чтобы осознать, что он здесь, от него что-то ждут, хотят его возврата. Его подняли, пытаясь поставить на ноги, и показали, как надо

ходить - ничего этого он не видел и не понял. То, что недавно было человеком, теперь превратилось лишь в неудобную вешалку для рук и ног, которых, казалось, стало вдвое больше, и все они были плохо привязаны и оттого болтались, не находя единой цели в действии и лишь мешая друг другу. Попробовали здесь же на месте пройтись с ним - шагал, но шагал не он, а как бы память его вздрагивающих мышц, которые жили сами по себе. Пробовали ставить и отпускали - он оседал, рушился и сникал совершенно. Единственным проявлением жизни в нем был вот тот выдох с сипотой, похожий на плач, который привел нас к нему.

- Что же это такая хиленькая артиллерия у нас - тот выступать вдруг начал, теперь этот... всех на дачу отправил...

- Выедешь... Это ты, лапоть, пехота, каждый день с немчурой чуть не чай пить ходишь, а они - артиллерия, бог войны. Это всегда где-то за долами и весями, далеко и недосягаемо, а тут вдруг нос к носу - и встречать нечем, ни хлеба, ни соли.. один чтец-декламатор, так что понять, я думаю, можно.

- Может, ему приказ какой отдать? - мягко, неуверенно предложил кто-то.

Сержант, который больше всего возился с артиллеристом, скользнув взглядом по предложившему этот эксперимент, вдруг активно, с силой подвел его к затвору орудия и, поддерживая солдата, резко, шепотом проговорил:

- Слушать мою команду - орудие, огонь!

Невероятно! Откуда-то из страшной тьмы надломленной психики первым пришел "здоровый" озноб. Солдата дернуло, руки опять подбросило, они, прежде вялые, вдруг начали дрожать, готовясь к какому-то поиску. За доли минуты солдат взмок.

- Огонь! - неуклонно давил голос.

Днем, при нормальной видимости, смотреть на происходящее, я думаю, было бы неприятно и даже страшно, но сейчас все молча, окружив их, стояли и ждали.

- Огонь! - неумолимо требовал сержант.

Каждая команда заставляла солдата изнутри, рвано, выбросами вздрагивать всем телом, вроде силы, возрождающиеся в нем, готовы были к действию, а вот сознание, логика все еще не могли уразуметь, осознать - вот его и бросало короткими конвульсиями. От него дохнуло теплом, он учащенно задышал, силился (было видно, что наконец, почти осознанно) приподнять, взбросить голову. Сержант был рядом, и, казалось, он подхватит эту безвольно, нелепо мотающуюся голову, но он напротив, совершенно отпустив солдата, отстранился от него и зло, в упор, жестко бросал:

- Беглый огонь!

Возвращавшиеся силы солдата, на что-то натыкаясь внутри, пытались догонять команду, вскидывали голову с запозданием. Чувствовалось, что он хотел, страшно хотел зацепиться за неровные выступы рухнувшего духа; казалось, еще совсем короткое время - и он обретет себя, вернется. С беспорядочными скачками головы вместе с дрожью впервые появились бессвязные хрипы и звуки. Все еще подбрасывая голову, солдат остановился взглядом на лице сержанта, но не видел его, совсем не видел, лишь сила голоса заставляла его искать источник какого-то резкого возбудителя. Энергия, так валом нахлынувшая, вдруг видимо и так же быстро стала покидать солдата. Он осел, ударившись скулой о затвор пушки, и никакие команды до него не доходили.

- Все, ушел... совсем... сломался!

Солдат действительно не производил впечатления живого человека - это была груда того, что было человеком. Ему расправили ноги, разбросали руки и оставили лежащим на снегу.

- Вот сейчас он и отойдет сам по себе, без всяких криков, - недовольно проворчал солдат, который сетовал на отсутствие жизни.

Однако через некоторое время все тот же сержант заговорил вдруг так просто, мягко, что было непонятно, что это с ним теперь случилось и с кем это он так.

- Теперь лучше, ну вот и хорошо, только поглубже дыши, и все будет славно!

Солдат лежал все так же, разбросав руки, но глаза его теперь были глазами человека - сломанного, может быть, раздавленного, но живого, мыслящего и слышащего. Жизнь медленно, коряво, но приходила, ничего не обещая, а лишь требуя следовать ее нелегким, непростым путем.

Может быть, не к чему было бередить память, воскрешая случай с солдатом, однако все события ночи связывались этим вот неутомимым сержантом, заставившим меня немало пошевелить башкой, чтобы как-то восстановить в памяти отдельные пятна нашей фронтовой жизни. Если вся ночь прошла единым страшным мгновением, то время по реставрации человека в том надорванном артиллеристе, казалось, остановилось и ему не будет конца. Сержант обладал каким-то невероятным терпением и настойчивостью, на которые никого из нас просто не хватило бы. Солдат уже довольно живо для его состояния смотрел, переводя взгляд с одного из нас на другого, но, казалось, никак не мог взять в толк - кто мы такие и что нам нужно от него. Узнать он нас не мог - он не знал нас и раньше, а вот когда взгляд его наткнулся на расстрелянного друга,

лежащего теперь недалеко от него на снегу, он долго, пусто смотрел на него, пока ему не удалось замкнуть цепь событий ночи, и он часто и коротко задышав, потихоньку заплакал, что, казалось, просто обрадовало сержанта.

- Ну вот это ладно, давно бы надо так! - И это все действительно было бы хорошо и славно, если бы я не узрел в поведении сержанта странную жажду заставить солдата говорить. Сержант был неутомим, и этот его хрипловатый голос, манера настаивать что-то скрывали за собой, где-то уже, вроде, были, звучали, но где и что именно, никак не давалось собрать во что-то предметное, определенное. Совсем не взрослые всхлипывания солдата, казалось, только распаляли сержанта. Он добился своего: оттепель пришла. Через нагромождение хлипи и стонов стало прорываться порою нечто вроде осмысленных звуков, и нам теперь уже сообща удалось уловить суть рваных причитаний солдата: он удерживал друга, тот ничего не слушал, потому что устал... потому не выдержал... устал... сошел с ума. Наконец становился понятным тот спасительный шквал огня нашего орудия - их было двое.

- Ну, теперь-то уж что... Слышишь, успокойся! Может быть, глоток водки выпьешь. Вы что... давно были вместе в расчете?.. Когда вы пришли сюда?.. Снарядов у вас нигде больше не осталось, а? Ну-ка вспомни, вы к кому были приданы? А ты знаешь, что ты всех нас спас, дорогой? - И еще навал всяких вопросов, увещеваний. Голос хоть и выговаривал всякие добрые хорошие слова, но хрипел, становился противным, гундосым, неприятным. Что он навалился на этого несчастного? От одного голоса убежишь куда глаза глядят. Однако я слушал и смотрел со все возрастающим недоумением на обладателя этого "ржавого наждака". Что-то было связано у меня с ним и это "что-то" было совсем рядом... Но что? Хоть "матушку-речку" пой - не мог припомнить, как ни смотрел, ни прислушивался...

- Полно, полно... А мы ведь до сих пор так и не знаем, как тебя кликать, звать-то тебя как?

- ...ле-те, нег... те-не...

- Какой такой "те не" - таких и фамилий-то не бывает на свете. Может, я неправильно понял, говори яснее... Как?

- ...те, неле... теге...

- Тенелев? Терентьев?

- Не-ет... Те-ле..негин...

- Теленегин... Телегин?! Ну, брат, дела! Телегин! - произнес сержант эту фамилию так, словно произносил нечто высокое, чему невозможно подобрать ни цены, ни измерений, настолько оно редко и прекрасно. - Какая замечательная фамилия - Те-ле-

гин! А нервы у тебя, просто скажем - никуда не годные, как у Разва-лю-хина какого-нибудь! Это не дело, брат, нет, ты уж извини!

Слушая нехитрые, доморощенные доводы сержанта, я вспомнил наконец, не мог не вспомнить. Невероятно, невероятно! Ай-яй-яй! Он замечательный человек и другого определения ему нет... И голос его такой славный, с надорванными обертонами, прямо скажем, задушевный, право, какой-то. Ах, какое счастье, что есть такие хрипуны на белом свете и до всего-то им дело, забота и разуменье. Да, да, это - он! Он запал в память с одного привала, когда мы шли на запад и тылы не очень успевали за нами. Наша кухня, проплутав где-то, привезла все холодное, и сержант этот достойно и просто выговаривал интенданту-офицеру, едва ли не капитану, точно не помню, что они обязаны быть всегда вовремя, готовыми и в кондиции, и упрямо твердил: "Не дело, капитан, не дело, извини". Я еще подумал тогда: вот я - старший сержант (правда, различие это не очень уж и велико, а если честно говорить никакого), а вот так говорить и вести себя с начальством, прямо скажем, не смог бы - слаб в коленках. Теперь хотелось подойти и сказать ему что-нибудь хорошее, душевное. Ну да что ж... ладно. Будет талдычить: не дело, брат, не дело... Ладно, действительно не дело, да и к чему. Сентиментальность - все это сахар, патока. Человек как человек... и голос-то ржавый... в дрожь бросает.

Между тем двор, дорогу, амбары и лощину погрузило теперь уже в настоящую, глубокую тишину, и хотя желанная гостья эта пришла вдруг - никто не удивился ей. Она давно должна была быть, но что-то вот уж слишком долго тянула, и оттого казалось, что уж теперешняя, наконец-то пришедшая, она не может, не должна таить в себе что-то там еще, кроме нее самой. Разговаривали шепотом, но все было слышно и понятно. В растворившуюся благодать расстояние могло донести громко гортанные голоса наших неудачливых недругов из-за полотна дороги, но и этого не происходило - и они надорвались, должно быть, хоть и "высшая нация", а ведь тоже, поди, достукались с этим их дурацким "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", и сейчас ночевать в поле на снегу не очень-то сподручно, потому, должно быть, и перли напролом - в дома, в тепло, хотелось вздремнуть с уютом, а вот поди ж ты - откуда ни возьмись, как черт из рукомойника, русская братия - сама не спит и другим не дает. Да-да, чего-чего, а это мы иногда умеем!

Ну, да не о том речь. Стало действительно тихо - так вот, наверное, было в мирной жизни. Мирная жизнь - что это? Какая она? Прекрасная? или обыкновенная, простая жизнь, а весь этот теперешний кошмар - лишь сон... Но нет, это была такая военная

обстановка, такая жизнь, похожая на кошмар. И стало вдруг всех жалко: и Телегина с его несдюжившим другом, и соседа, загородившего меня от взрыва гранаты, и сержанта с его неуемной жаждой выжить, и самого себя, так как по всему выходит, что завтра (то есть уже сегодня), может быть... И стало жаль даже всех тех, за полотном железной дороги - какого черта они не сдались там, в городе-крепости Торунь? И им было бы сейчас хорошо - спали бы где-нибудь в помещениях, отведенных для военнопленных, и мы все были бы целы.. А так вот, поди ж ты, все наоборот нехорошо! А тут еще совсем непонятно - куда подевались остальные? Треть ранены или легко задеты, но и вместе с ними всего десять человек! И больше никто не подходит. Неужели все... Раненые оставались с нами, да им, собственно, и некуда было уходить - кругом враг, и они вынуждены были разделить участь всех нас, уцелевших. Так казалось мне той ночью, однако приходившее утро принесло с собой некоторые загадки, которые я до сих пор так и не сумел разгадать.

Долгая ночь, отнявшая у нас понятия цены, жажды жизни, уходила нехотя, вдоволь желая насладиться тем, что ей так недурно удалось. Брезжущий рассвет, стесняясь, не спешил к страшным плодам своей предшественницы и сперва робко, издали обозначил только светлую бурость построек и груды серых шинелей вповалку во дворе и между амбарами. Должно быть, прошло страшно много времени?

- Слушай, скажи, пожалуйста, я что-то ничего не понимаю... это что же... все наши, что ли?

- А то чьи же... Конечно, они. Отдыхают!

- Когда же это их всех?

- Вот те раз - ночь целую месили, а ты - "когда же..." Артналеты те, да крупнокалиберные с насыпи приговорили здесь многих. Долго ли умеючи-то? Время было...

- Так среди них и раненые, должно быть, были?

- Конечно, были. Ты от Телегина заразился что ли? Были... Все было. Их собрали и стащили в сарай, легко раненые сами ушли... Не знаю.

- Куда ж они ушли?

- Не сказали, говорю - не знаю и... отстань, Бога ради!

- Да не сердись ты... эти-то все, что ли?

- Да! Как видишь...

Что с лейтенантом? Спросить же о нем как-то не осмеливался, боясь услышать страшное. Где он может быть? Совершенно не помню, каким путем опять оказался около Телегина. Он стоял на коленях у ног своего друга, бормотал что-то и пригоршнями греб к нему снег. Но у него это не получалось.

Побыть с ним, помочь ему ни сил, ни желания в себе не нашел, хоть такая мысль и промелькнула. Несмотря на тишину и полученную передышку, покой беспричинно вдруг ушел, нервы сковали все внутри. Поговорить бы с кем-нибудь - и я вернулся на старое место.

Когда накануне, подбежав к лейтенанту у дальнего торца амбара, я доложил: "Я здесь", - не то он считал само собою разумеющимся, что "я здесь", не то просто забыл, что оставлял меня добинтовывать безгрудого, но посмотрел он на меня как на незнакомого, явно не понимая, чего я хочу, и сказал: "Ты и должен быть здесь, иди к тем, что между амбарами". Это было последним, что я слышал от лейтенанта.

- Это опять я, извини... можно я просто постою здесь... Когда собирали их, рядовых и офицеров брали вместе?

- Где, каких офицеров?.. Ты о раненых, что ли?

- Да.

- Откуда же я знаю... Я их не допрашивал, а они не докладывали - кого брали, кого нет, оптом или в розницу. Видел только - бегали тут, лазили, копошились, но не приметил... ни к чему было.

- Сейчас-то они тоже здесь?

- Что ты пристал ко мне как банный лист? Пойди да посмотри! Тоже следователь - что, где, когда, почему?.. Потому! И не подходи ко мне больше, пошел отсюда... врежу, ей-богу, врежу... Много здесь вас - куда, зачем, откуда, почему...

- В том-то и дело, что не много... Тошно, тяжело, потому и спрашиваю.

- Вот и иди себе... кого хочешь спрашивай, кому хочешь отвечай, а меня оставь... здесь у самого душа не на месте... нашел громкоговоритель!

Видя, что с ним действительно лучше не заговаривать, какое-то время стоял, молчал, потом отошел. Надо поискать лейтенанта. Смотри-ка, санитары вернулись-таки, молодцы! Как там мои хворые? Интересно, не повредил ли безгрудому своей неумелой перевязкой? И те двое - как они, бедняги? Телегин-то вряд ли совсем отойдет, уж очень слаб, вояка никакой. Странное дело, но только теперь стал по-настоящему мне понятен его плач. Телегин маленький какой-то, как ученик младших классов... Потерять друга прямо на глазах - можно свихнуться. Правда, у меня с друзьями как-то не получалось и в школе... не могу сказать, что всегда был один... нет, характер, что ли, плохой или по-настоящему не интересен был никому. Вот только однажды, пожалуй, - Сережка Кожевников и Колька Терентьев в третьем классе, но и те что-то недолго продержались, отстали. Да,

наверное, что-то неприятное есть во мне, скрытое, что и я-то не знаю, отталкивающее. Хорошо бы узнать - что именно, что за скверна, и я поборол бы в себе это зло, этот страшный, отталкивающий недостаток, порок, и друзей у меня было бы полно, они все были бы добры ко мне, дорожили бы мной, я был бы им нужен, и мне было бы хорошо, и им было славно, и не было бы у меня этой душевной недостаточности, как теперь. А то стоит кому-нибудь взглянуть на меня по-доброму, как я уже готов опрометью ринуться в огонь и воду. А может быть, это-то и есть тот страшный недостаток, от которого все шарахаются, как черт от ладана. Но я же не навязчив??! Да-а-а! Такое конечно цениться не может. И вот хотя бы сейчас не знаю, как у других, а у меня и здесь нет друга, а уж как надо, чтобы он был здесь сейчас, это-то уж я знаю точно. Вот разве только раненый тот, да и лейтенант... похвалил вчера и глазами вроде одобрил. А виноград этот... как это? Вайнтрауб - смешное слово... Э-э, фамилия... Интересный человек, это есть, это ни в какие вещмешки не засунешь... Немного сумасшедший, зато умный, черт те что, это тоже нечасто встретишь, и добрый, кажется: подбадривал меня, боялся, чтоб я опять не сорвался и пахучкой меня какой-то намазал - до сих пор воняю. В ногу заставлял идти. Правда, вот еще сержант этот, тоже человек замечательный, редкий, и это терпение его невероятное, вызывающее восхищение, завидное просто, как это он управляется с ним - ума не приложу, но уж очень конкретный какой-то, даже скучно становится - все дело да дело... и голос!.. Это ж надо такое - скрипит и всех пугает. Вот и все! Ну, правда, никто из них и в ум не возьмет, что я их друг, и от этого немного грустно.

- Ты что как соляной столб стоишь? - Вона-а, стоит припомнить, так он в ушах и скрипит. Деловой уж очень, хозяйственный. Там за холодную пищу набросился на бедного интенданта-обозника, здесь пересолили все ему... Никто-то ни в чем не угодит ему никогда!

- Плохо слышишь, что ли? - Сбоку от меня стоял сержант и как-то странно смотрел на меня. - Не надо расслабляться, не время, они вот-вот опять, надо думать, полезут... а ты где-то такое витаешь. У тебя все на мази, в порядке, готов?

- Я? Да... готов. Все в порядке... вот с патронами у меня не очень, просто худо.

- Так в чем же у тебя порядок? Э-э-э, да ты, я вижу, как из детского сада, действительно. Ты кто по профессии?

- По специальности, что ли?.. Никто, не успел еще, просто человек, по улицам бегал и немного киномехаником работал.

- Ого-о, ничего себе... Это немало, а говоришь - никто; и

механика прекрасно, и бегать тоже уметь надо... А жить хочешь, человек?

- Еще бы, конечно... Кто ж не хочет-то?

- Ну вот видишь, как ладно получается... Это и надо делать сейчас, а потом и постоять успеем, и помолчать, и подумать... Вон их, бедолаг, сколько навалили... Ни за что ни про что, тоже ведь, поди, недурно бегали, хотели и постоять, и подумать... и кино посмотреть... Ах ты, боже ты мой, - как-то совсем сокрушенно выдохнул он. - Беда!! Ты поползай-ка между ними, собери, набей себе диски, пока обстановка позволяет.

- Ладно, сделаю! Сержант, правда, что ли - завтрак привезли или ты подбодрить хотел, агитировал?

- Завтрак?.. Нет, не думаю, сюда трудно просто. Какой завтрак, где?.. Кто тебе такое бухнул?

- Ну вот ты, стол, говорил, поставили, соли много вроде стоит, - ты говорил?

- Я говорил: соли много? Какой соли? Ничего не знаю... А-а-а! Вона куда ты дал... - Хохотнув, он цепко, пристально взглянул на меня. - Ты, должно быть, артист?

- Ну что ты... какой там артист... в школьном драмкружке участвовал, только и всего - это так. И то недолго, но потом... я из второго взвода автоматчик, командир отделения.

- Понятно... Вот уж и не знаю, как тебе объяснить... В одной из древнейших книг рассказывается, как одна женщина оглянулась, на что оглядываться и подсматривать не следовало, и сразу превратилась в соляной столб.

- Фокусницей была, что ли?

- Да-а-а... Я все забываю, что ты автоматчик... из второго взвода и боюсь - не очень поймешь... ты вот что... мы сейчас...

- Вот те на-а, почему же вдруг так-то? Гранаты вместе с тобой бросал и все тогда понимал, а здесь сразу оглупел и ничего не соображаю...

- Твоя фамилия... я все забываю...

- Смоктунович...

- Так ты... не русский, что ли?

- Почему же так-то? Самый обыкновенный русский, из второго взвода. - Не исключено, что я и дальше бы объяснял ему, откуда я такой автоматчик, но он, должно быть, устал говорить со мной и довольно сухо оборвал меня, сказав:

- Наберешь патроны и займи место у дороги. - И ушел.

Ну вот, и этот не состоялся - сбежал. Есть, есть во мне что-то такое, что пугает, отталкивает, заставляет бежать. Хорошо бы действительно, если повезет и буду жив, узнать эту скверну в себе, побороть ее и заиметь друга-двух возле себя - куда как

недурно. Я бы заботился о них, они - обо мне, и всегда было бы с кем поговорить. Никто бы не сбегал. Вспомнились бинты на моих раненых. Как они там, жив ли "Безгрудый"? С этой мыслью я и поспешил в амбар в надежде узнать у санитаров о раненых, оставшихся в доме. Но ни санитаров, ни кого другого в темноте амбара не оказалось. Ни на какие мои возгласы и вопросы, брошенные в темноту, никто не ответил. Было неприятно глухо, и, когда глаза, привыкнув, стали различать окружающее, - в разных местах на сене удалось разглядеть человек шесть скончавшихся наших бойцов, перевязанных, но, увы, не смогших совладать со своими ранениями.

Узнать удалось только двоих. Один был едва ли не мой ровесник, ну года, пожалуй, на три, не больше, старше, и ничем особо себя не проявивший, разве только тем, что был большим любителем поспать. Где только мог притулиться там раздавался храп. Он умудрялся спать на ходу. Впрочем, никакая это не диковинка и не выдумка. Я не однажды ловил себя дремлющим на монотонном движении марша. Он же был большой специалист, профессионал, можно сказать. Помню, несколько растерянное лицо его, когда его понукали за то, что, задремав на ходу, он ударил козырьком каски идущего впереди в затылок.

- Команды "стой" не было, - вяло оправдывался он. - Если бы он шел как нужно... вперед, - неожиданно добавил он совсем неподходящее к нему, не его слово, чем и разрядил эту перепалку. В общем-то, он был славный малый, который относился ко всем ровно и добро. Не помню его фамилии, думаю, что ее и тогда-то мало кто знал - настолько он был неприметным, обычным и простым человеком. Мою фамилию тоже вряд ли кто знал тогда, я уж не говорю, чтоб помнить ее до сих пор. Ко мне и обращались: "сержант", "славянин" или "эй, слушай", а самое распространенное - "солдат". В силу моей худобы и сутулости еще и "доходягой", "костылем" нередко звали, и еще как-то, и все в этом же роде, так что я уж и не помню. Никому не приходила охота окликать меня по фамилии, тем более что она такая длинная, ничего собою предметного не выражающая и оттого непроста в запоминании.

Второй, кого удалось мне при скудном отсвете ночи, скупо пробивавшемся в распахнутую дверь, рассмотрев, узнать в глубине амбара, был личностью в высшей степени примечательной. Лет ему было 33-35, и, как вспоминается сейчас, человек он был молодой, полный сил и надежд, но тогда, на фоне всех нас - юнцов-сержантов, только что окончивших в глубине страны училища, новичков, попавших в порядком боями истерзанную, поредевшую часть - он выглядел совершеннейшим

стариком. Фамилия его - Егоров, однако запомнилась фамилия не потому, что она проста и без труда ложится на память, а скорее, оттого, что с легкой руки заводилы-острослова, сократив ее, перелицевали в имя, прицепив к нему своеобразное в сочетании с именем определение животновод, таившее, на мой взгляд, некую загадку и привлекательность: "Егор-животновод". Ни на какого животновода, в моем представлении, он не походил и никогда им не был, а просто Егоров случаем подобрал где-то совсем крошечного, еще слепого котенка, бережно носил его за пазухой шинели и нежно кормил этот малый незрелый комочек из своей ложки. Славный симбиоз этот и послужил отправной точкой в его прозвище, он-то и понуждал, надо полагать, Егорова всегда держаться особняком. Однако, не котенок, не прозвище и не возраст самого Егорова выделяли его среди всего состава взвода. Вот уж, право, и не знаю - в чем здесь, как принято говорить сейчас, первопричина: характер ли такой, либо действительно его лета, как он, должно быть, полагал, давали ему право, но на любой вопрос, просьбу, обращение или даже приказ у него всегда был готовый ответ - "опять я?", либо "я-то тут при чем?", либо "я уже был", или "почему обязательно я?". Он был неиссякаем и неутомим в готовности выдать целую обойму падежей, склонений, изменений и всевозможных измерений этого самого "я", и только одно оставалось постоянным и неизменным - это то раздражение и неприязнь, с которыми он произносил это "я", словно оно ему так осточертело, что слышать о нем у него уже больше не было никаких сил.

Теперь Егоров был непривычно спокоен, лежал под шинелью на животе с закрытыми глазами, будто все еще продолжал прислушиваться к боли внутри. И, может быть, темнота рождала ту умиротворенность, но весь вид Егорова напоминал легко занемогшего больного, которому ставят горчичники или банки. Он терпеливо давил и без того приплюснутую щеку: "Опять я? Тут-то уж при чем я?" - это его всегда недовольное немое воскресила память. Я никогда не видел того котенка, только слышал рассказ о нем, но здесь, сидя на сене рядом с Животноводом, понимая всю несуразность, нелепость этого наваждения, я тем не менее не мог не думать о котенке и хотел увидеть его. Убеждая себя, что меня интересует лишь, что погубило Егорова, приподнял на нем шинель... Из-под гимнастерки в темноте белели бинты, по-видимому спина животновода была прошита автоматной очередью или пропахана осколками... Глазами я шарил вокруг Егорова по углам амбара, по каким-то темным доскам над головой, и хоть наверное знал, что без постороннего источника света не может быть никаких

светящихся глаз, тем не менее ждал, что вот-вот где-нибудь вспыхнут два крошечных уголька и своим свечением уведут в то прекрасное время душевной свободы, когда была всего-навсего одна и единственная опасность учитель в школе по поведению, по глазам ли (тоже ведь, должно быть, какое-то свечение было), или по другим каким признакам заметит во мне, что заданный урок не готов, не выучен - вызовет к доске и поставит двойку. Но всюду было темно, тихо и пусто, как в склепе, а когда устоявшуюся тишину амбара вдруг прорезало ласковое "кис-кис-кис-с-с-с", и нежный мираж этот, отголосок мира и нормального жития, просвистев, растаял в запахах медикаментов, крови и сена, я еще какое-то время продолжал молча стоять на четвереньках, честно пытаясь понять - не сошел ли я с ума? Сознание, подстегнутое возвращением к реальности, настойчиво и жадно перебросило в пору детства, живо пропуская перед внутренним взором моим четкость образов и событий, словно раньше, когда все это происходило, оно было заснято на какую-то дорогую моей душе пленку и теперь, в трудные минуты, специально прокручивалось вновь, с тем чтобы показать: будучи ребенком, ты мог и переносил это, а сейчас тебе уже ого-го-го, почти девятнадцать, так что же ты, голубчик? И почему-то эти "просмотры", как бы разны они ни были, начинались всегда с одного и того же: кругом - бело, хруст снега под ногами. Снег сухой. Мороз сковывает дыхание, и я мечусь в переулке. По этой дороге я только что проходил - отчаянию моему, казалось, не будет конца... Валенком я разгребал, даже пинал малейшую неровность в снеге в надежде найти все же где-то оброненную только что купленную, новенькую коробку прекрасных, разноцветных, еще не отточенных карандашей! Снег, звеня, рассыпался веером... меня душило отчаяние... горе было разящим. Я не знал, куда себя девать настолько, что и по сию пору не могу пройти мимо магазина "Канцелярских товаров", чтоб хоть мимолетно глазами не обласкать это удивительное богатство нашей цивилизации - коробки цветных карандашей!

Был здесь и мой отец, и просвет в темном небе Сибири, и ослепительно яркая звезда, долго летевшая параллельно земле над нашим городом, появился почему-то и Егоров, что лежал теперь рядом, однако был осиротело примолкший, держал одну руку за пазухой шинели и, казалось, всячески старался избежать встретиться взглядом со мной. Его вытеснили деревья за кладбищенской стеной того же Красноярска, которые на фоне увядающего дня всегда образовывали точное очертание фантастически огромной головы кошки. Все-таки котенок, должно быть, нелепое желание увидеть этого маленького,

неудачного поводыря по жизни родили рой этих воспоминаний. Выплыл из темноты и образ тетки моей Нади, что растила меня как родного сына, и матери - кроткого, сильного, загнанного работой человека, - все прошло передо мной так четко, ясно, что, помнится, нужны были определенные усилия, чтоб не остаться в плену этого ложного, успокаивающего возбуждения, иными словами - не впасть в забвение, не свихнуться.

Звук одинокого выстрела вернул реальность. Черная тень, соскользнув с дальних соседних построек двора, быстро подбежала к распахнутому амбару и на короткое время исчезла вовсе. Невероятная, сахарная белизна всего, что увиделось в проем двери, неприятно колола глаза, словно все окутали свежайшими крахмальными простынями. "Разве шел снег?" Ракета, косо упав где-то невдалеке, недовольно шипела, борясь со снегом. Феерия белизны так же неожиданно исчезла, как и появилась. Какое-то время, казалось, двор погрузился в непроглядный мрак. Не могу припомнить - когда же шел снег?.. Теперь надо к ним... набрать патронов... и ждать... каникулы, видно, кончались.

Хотел было набросить на Егорова шинель, да вдруг все стало ни к чему, и эта его причуда с котенком ранее таившая в себе много человечного, доброго, рождавшая желание тоже прихватить какого-нибудь куренка, цыпленка, щенка, показалась вдруг глупой, слащавой, совсем-совсем ненужной, даже противной. Конечно, это маленькое зверье отвлекало, согревало и долго поддерживало, однако, увы, не смогло уберечь его здесь - значит, суть не в этом... А в чем? И вообще есть ли она? Злой, мятущийся, не в силах остановиться на какой-нибудь определенной, одной доброй либо просто спокойной мысли, я вновь окунулся в промозглую сырость двора. Оказывается, в амбаре было тепло. Влажная мерзлость воздуха вызывала озноб. Надо успеть, пока темно и все в тумане. Это он покрыл все своею белой ленью. Странно - кругом тихо. И наших никого не видно, должно быть им так же тяжело и сидят где-нибудь у стен. Меня-то должен был бы кто-нибудь окликнуть, а вот ведь - молчок. Чтоб не случилось чего-нибудь непредсказуемого, я громко в голос выдохнул: "Господи ты Боже мой!" И долго стоял на месте, убеждая себя, что привыкаю к темноте, однако долго длиться этот самообман не мог - в амбаре было не светлее. Чувствовал, как вползала тошнота безысходности - нас мало, а их вчера черным-черно, да и за насыпью их, должно быть, не меньше. Ох, нехорошо на душе. Не хотелось никуда идти, вообще ничего не хотелось. Стоял, борясь с собою... Однако патроны нужны, и, если уж пойдут напролом, то хотя бы на время защититься, кто их знает, что они там

надумали, для чего ракеты бросали?.. Привыкнув глазами к дышащей мгле, многого не узнавал, не видел. Вспомнилось, как вчера нас приводили сюда знакомиться с местностью. Теперь мы все это знаем, но только все куда-то исчезло, ушло, растворилось, и только стены амбаров то появлялись, проступая призрачными, загадочными островами чужих замков, то вновь проваливались в серую муть. Там, где за крышами вчера виднелся шпиль костела, было пусто и темно... Ничего кругом, кроме гиганта дерева впереди справа и дымчато-белесого плена двора. Однако дерево было столь белым, что и оно, казалось, вот-вот сольется с этим зыбким миром холодного серебра и если оно пока виделось, то только потому, что, разглядев тихо лежащих под ним на снегу людей, как бы задумалось и скорбно распростерло саван своих ветвей над ними. Да, лежат вот, как неровно вспаханное поле. Ни нерва, ни страха - мертвый покой и холодная тишина, а ведь у всех были мысли, были чувства, не могли не быть - где же все это? И хотя они лежали всюду, почему-то пошел к тем, что были в центре двора. Теперь только они могли выручить нас, оставшихся... Тяжело, мутно...

Может быть, обстановка, атмосфера всего случившегося с медленной плывущей белизной тумана заставляли воспринимать так, но они с непроницаемыми белыми лицами лежали поверженными богами, и было неуютно искать у них патроны, ползать темной улиткой между этими остывшими надгробьями. Я встал. Голод на патроны заботил, как видно, не только меня в разных концах двора, используя время передышки, копошились два темных силуэта, разбивая собой страшное согласие белого единства утра. Должно быть, наше дело и впрямь худо. У них у всех мутные, студенисто-серые глаза? При жизни светлые, карие и темные, всякие были... а вот сейчас только серые. Безразличная, неприятная, отталкивающая, холодная серая студенистость. Что это? Отражение влажного тумана? Прикрыв сверху рукой лицо одного погибшего, понял, что утро с его белой сыростью тут ни при чем. Должно быть, последние проявления ушедшей жизни. Вот у него, как сейчас вижу, - темно-карие глаза, а вот ведь - тускло-серые. Когда еще ночью в доме мне кто-то протянул кружку с водкой или спиртом для промывания раны тому "безгрудому", этот человек, вдруг оказавшись рядом, как само собою разумеющееся быстро и четко проговорил: "Смочи тампон, остальное дашь мне". Я обрадовался, что есть наконец помощник, а может быть даже знающий и умеющий, что и как делать, который сам вызвался помочь.

- О-о-о, спасибо тебе, дорогой, а то я здесь совсем запырхался... оказывается, дело-то это совсем не простое...

Но он вдруг резко оборвал меня:

- Нет-нет, не могу, видишь - руки дрожат, да и сам справишься.

Это был не простой, совсем не простой, скорее - странный человек. Казалось, он все время о чем-то упорно думал, и в эти его минуты раздумий он просто был нелюдим и резок до наглости, и тогда к нему лучше было не подходить. А хохот и дурашливая трепотня одного нашего, легкого, согласного нрава молодого солдата никак не могли быть созвучны с минутами мрачного состояния этого теперь спокойно и тихо лежащего здесь человека. Напрочь не помню ни фамилий, ни имен ни того ни другого. Единственно, что запало: что имя и фамилия первого происходили из одного корня, как например: Карим Каримов, Гамза Гамзатов - он из татар. А "лягушонка" с большим ртом... вроде... Семеном, Степаном звали... но нет, нет - это всего лишь "вроде" и быть уверенным хотя бы в одном имени, к сожалению, не могу - не помню. Так вот: ничего не подозревая, этот "головастик", исходя слюной и шепелявя, нес какую-то чушь, строил уморительные рожи, сам хохотал, однако нужно отдать ему должное, - совершенно не заботился, чтоб кого-то рассмешить. Да, по-моему, он даже и не осознавал своего обаяния.

- Перестань! - резко, как хлестнул, крикнул мрачный. - Ломаешься, как говно через палку, надоел, замучил всех!

- Чего ты вдруг - люди отдыхают, смеются.

- Тебя, дурака, обидеть не хотят. Свободная минута - письмо матери напиши. Мозолишь здесь людям души, глаза.

Пристыженный "затейник" вместе со всеми умолк. Я хоть и смеялся не меньше других, однако вскоре не без удивления ощутил действительно свободу и отдых. И, помню, уже по-другому смотрел на того мрачного, неприветливого, чем-то обозленного, тяжелого в жизни человека. И, наверное, так и держал бы его и дальше, не окажись нас несколько человек в одном полуразрушенном доме вместе со "святой троицей", как называли их троих. Они, в общем-то, так и держались всегда особняком. До того привала мы долго шли под дождем, время было осеннее, все кругом промозгло, и на нас не только сухой нитки не было, а просто ручьем текло. Нам выдали водки. Делали это редко: иногда перед боем и в большие праздники, меня это не заботило - водка была мне противна, и, если я все же выпил ее тогда, то только потому, что зуб на зуб не попадал. К сожалению, сейчас наши отношения с нею несколько изменились и порою... ну да что толковать об этом - пройдет, как те острова. Для двух приятелей того мрачного мужика водка, как видно, тоже не

представляла особого интереса, была необязательна. Лишь отхлебнув ее, как чай, они все отдали ему. Слив все воедино, не моргнув, не охнув, легко и безбольно он заглотнул все это пойло враз без всяких "кряков" и ужимок. Это походило на фокус: вот она есть, а вот ее и нет. Правда, потом долго сидел уставясь в точку, глубоко задумавшись. Что руководило новым действующим лицом - не знаю (должно быть, он просто был ошеломленным очевидцем только что происшедшего), но подошел солдат и предложил ему, "если, конечно, тебе не будет худо от всего этого", свою порцию водки. Очнувшись, тот принял дар, лишь скользнув взглядом по солдату, ожидавшему свою кружку, и тут же проделал с этой новой порцией то, что и с предыдущими.

- С чего здесь худу-то быть? - сокрушенно выдохнул он. - От сырости разве... Всякое бывало... я и пивал ее так, что и теперь иногда вспоминаешь, да думаешь: "я ли это?"

Он помолчал, недобро покосился на солдата, отдавшего ему водку, словно тот в чем-то виноват перед ним, и ничего не объясняя, как если бы продолжая давний рассказ, заговорил:

- Мы справили свадьбу сестры моей Нюрки, но с просыханием как-то не получалось - сначала пили на радостях, что Нюрка наконец-то ныть перестанет, семьей и детьми обрастет, а потом с горя: вроде наладили, что не ровня ей никакая, синюшный этот и нос-то весь в угрях, хоть и районная шишка, какой-то там начальник, этот жених-то ее. А тут еще уборка и надо вкалывать с утра до поздней ночи, но и вместе с тем все как-то уладилось и чередовалось от одной пятидневки к другой. И так оно, наверное, и продолжалось бы, не случись небывалой в наших краях жары и повторного приезда молодых, хотя все отпуска у них давным-давно покончались... И опять, по новой наладили в радость, да так, что через несколько дней Нюрка закатила скандал мне и Райке, жене моей, что мы спаиваем интеллигентного человека, и еле увезла своего милого живым. Признаться, уволокла она его вовремя... жара не унималась, голова трещит, председатель орет, а родня ноет: "Какая Проньке, этому дохлому хмырю, добрая девка наша досталась, и всем-то она взяла, а он даже пить как следует не может..." - и опять с вечера до свету пить, и все это, прямо скажем, тяжело... лучше бы уж Нюрка наша похуже была. И вот в один прекрасный день председатель, видя, что я совсем из колеи вышел, снял меня со скирдовки, кажется, и отослал засветло домой, чтоб дать оклематься мне, но зато поднять чуть свет на завтра. Прихожу... И в щель руку просовываю, чтоб щеколду на калитке поднять, хотя и без всякой калитки к дому пройти можно, но вот так уж получилось - одно к одному... и

чую кто-то ласково так гладит мою руку шерсткой. Сибирская кошка была у нас, Дунька, смышленая такая, все сало из бочек у русских соседей таскала, хозяин тот пристрелить ее поклялся. Мы уж ее и мордой в сало-то тыкали - ничего не помогало, на редкость деловой и хозяйственной была. Она, думаю, больше некому... открыл, захожу во двор... нигде никого... показаться не могло, ясно помню, как схватил ее, но лапка ловко вывернулась и поймать второй раз, как ни шарил, не удалось. Оглядываюсь - никого...

Куда она могла запропаститься так быстро? А у нас от калитки до сеней настил выложен из чистых, хороших досок, и светлым-то еще светло, лето только каких-нибудь полмесяца на убыль шло... глядь... на самой чистой доске... черт этак сидит и лапку о лапку от боли трет. Мне бы нужно так и остаться стоять, и все было бы хорошо, но ведь нечасто скотина такая в гости к тебе на твой тротуар захаживает; не привыкший к ней еще, я, не раздумывая, изо всей силы как дал по нем ногой... Никого нет! Меня от такого пустого пинка даже в обратную сторону развернуло. Я и так и сяк кручусь, ищу, думаю - между ног где-нибудь проскочил, а жена, заметив мои выкрутасы, в окно кричит:

- Чего это ты там вытанцовываешь?

- Оступился! - говорю; сказать же, что черти за руку хватают, а теперь еще лапу о лапу трут, как-то страшно неудобно вдруг стало. А она хитрющая, ее на какую-то там шараду не шибко-то того, вмиг раскусит.

- Со стороны показалось, как ловишь кого?

- Кого же ловить? Ну вот скажи на милость, кого здесь можно поймать, черта лысого, что ли? - говорю, а сам аж взмок весь от того, что никак этих слов говорить не хотел и не собирался, а слышу, что именно их-то я и говорю.

- Тебе видней! - кричит. А сама руку о руку вытирает, ну, точь-в-точь как тот. - Да что с тобой сегодня, никак припекло?

Что мог ответить ей? Ничего. Махнул рукой, дескать: "Баба ты и есть баба, ни ума в тебе, ни разумения". А сам незаметно зырк в одну сторону, в другую - нигде никого. На этом все вроде кончилось и пошел мыться. Рукомойник у нас на летнее время в сенях, обычный такой рукомойник: рукой снизу толкаешь пестик вверх - вода льется, и мойся себе... Толкаю я этот пестик, а он не поднимается, упирается во что-то мягкое, и вода еле-еле капает... открыл крышку, чтоб устранить помеху, а он оттуда, как пружина, и головкой крышку подпирает, и видно, что неудобно ему, больно. Я как заору и крышкой туда его обратно, он уперся, а я что есть силушки давлю его крышкой и ору, как жена потом уж говорила: "Да отстанешь ты, наконец?" И когда я уже всей своей

тяжестью лежал на рукомойнике, прибежала перепуганная жена.

- Он здесь, зови председателя, парторга, быстро, милицию, он здесь, только что хотел улизнуть!

Жена долго стояла молча и только смотрела. Потом тихо-тихо сказала:

- Пусти, пожалуйста. - И, легко приподняв крышку, она опять спокойно и мягко уставилась в меня, даже не заглянув в рукомойник. Помню, что было стыдно почему-то: но в умывальник я все же заглянул - в нем ничего не было, был пуст... как карман перед получкой. Вот когда было худо, так худо. Нюрка всю ночь не отходила. Меня же всего стыдом пропахало как голенище вывернуло, и я был послушный как теленок, никогда раньше мы с ней не говорили так согласно и спокойно, а утром она отвезла меня в районную больницу.

Многое слышалось и смешным, но оттого, что он рассказывал как-то мрачно, никто не смеялся, и, когда он умолк, вернувшись к тому замкнутому, неприветливому человеку, которого мы знали и порою просто сторонились, долго еще стояла тишина, все оставались на прежних местах, вроде передумывая каждый свое. Однако по настоящему удивлял, привлекал к себе этот человек другим. Несмотря на сложную жизнь нашу они довольно часто пели. Пели всегда втроем. Начинал и вел, собственно, один - молодой, тяжелый в кости, неожиданно подвижный парень. Вел он тихо, неназойливо, не спеша свою грустную, одинокую, несколько даже унылую ноту. К нему пристраивался не очень чистый, но не по возрасту высокий голос их старшего, которого они необыкновенно уважали и слушались как родного отца. И затем уже, вроде издали, "из-за леса, из-за сопок", осторожно напоминал о себе низкий хрип. Он так хрипел сначала, что казалось - вот сейчас прокашляется, "раскочегарит" и уже потом все вокруг заполнит гущей баса. А нехитрая гармония двух голосов его приятелей, как бы подгоняя друг друга, вырывалась в верхи, паря над оставшимся где-то там внизу, каким-то чудом ставшим густым и сочным тоном его голоса, на фоне которого, радуясь жизни, звучала легкость взлетов и замираний, уходящих вдаль и звучащих совсем рядом каких-то вздохов, радости, тоски и пронзительного зова надежды его запевал. Может быть, в той простой слаженности и было многоголосье - не знаю, но задушевность пения без основательности низов этого человека была немыслима. Как все истинно народное, пение их имело свою необъяснимую привлекательность. Никаких слов мы там не понимали, но было слышно их тоску-кручинушку по раздолью степей, дому, по оставленным родным и по каким-то еще только народу этому понятному стремлению и мечтам. В строю они

всегда были в одной шеренге и однажды на марше...

В тот день по той дороге прошло много всяких подразделений, и никто не задел искусно закопанной в полотно дороги мины, а вот здесь это произошло погиб сразу старший из них и еще двое наших ребят, а запевале оторвало по колено ногу. И наш (Карим?) с полмесяца не проронил ни звука, хотя оставался исполнительным и точным. Мы все переживали нелепую, зряшную потерю друзей, но трудно сказать, как не хватало нам всем их заунывного, но от того не менее утоляющего, успокаивающего всех нас пения.

В один из тех великих дней, когда радость приближения конца войны клокотала в каждом из нас, и мы неудержимо шли на запад, он сперва как-то для себя подвывал, а затем громче и яснее загудел отчетливо и, казалось, даже радостно. Мы все, предупрежденные лейтенантом неделей раньше, если он вдруг "запоет" - не обращать на него никакого внимания, молча шли, глотая комок, душивший нас, радуясь возрождению человека, и от неизбывного горя, что те трое остались около той злосчастной дороги, а многие, многие другие не дошли и до того рубежа, и оттого еще, что жизнь в каждом из нас, оказывается, - такое хрупкое, невероятное чудо.

Теперь он лежал, раскинув руки, рот открыт и искажен - и ни единого звука из того множества напевов, которыми они так искусно и просто создавали атмосферу душевности и доброй грусти, как я ни силился, вспомнить не мог. Ни подсумка, ни самих дисков с патронами у него не оказалось. Лицо было гладкое, и без того глубоко сидящие глаза ввалились и оттуда, как из далека застывшим бельмом безразлично смотрели в туман. Какие там патроны, гранаты было до того тошно, внутри вскипало, жгло, душило, становилось невмоготу. Минуты эти страшны и тем, что ты совершенно не властен ни в ощущениях, ни в продолжительности их, и, когда в короткие мгновения возврата к себе удавалось увидеть и осознать все происшедшее, они лежали строго, величественно, словно принимали присягу. Проносилась мысль: "Это не страшно, тяжело и неприятно сейчас, а потом вот - полный покой". И стоило эту псевдоспасительную, уродливую по природе самой жизни мысль связать конкретно с собой, как обжигала пустота - безнадежность давила и угнетала настолько, что ничего не хотелось, все вокруг становилось ненужным, непонятным, ничего не значащим, пустым. Безразличность противная, тупая, нехорошая, с глухо заворочавшимся чувством ненависти к самому себе, заполняла все существо, эти короткие наваждения бывали столь чудовищны, что, надсаживая душу и сознание, оставляли надолго тягостную, с

чем совершенно невозможно было бороться, тоску. Тоску снедающую, непереносимую. Невольно думалось: скорей бы уж они шли... Так тяжело было, пожалуй, только однажды, в давно угасших сполохах детства.

То немногое, что еще сохраняет память из моего детства, почему-то неизменно связывается с тем временем, когда были живы мой отец и его родная сестра Надя, моя тетка, что взяла меня, пятилетнего, из деревни к себе на воспитание. Слово "воспитание", должно быть, сказано слишком высоко и выспренно, следовательно, неверно. Какое там воспитание, просто у тетки Нади с ее мужем, дядей Васей, детей не было, а у матери с отцом их был переизбыток, но, правда, на этом родительское изобилие и кончалось, всего же остального у них просто не было. Это были 1920-30 годы. По всей Сибири смерчем пронесся голод и в каких-то местах он несколько задерживался.

Страшной остановки этой не избежала наша Татьяновка - деревня, где я родился. Для того чтобы хоть как-то противостоять этой беде, одни сами бежали в город на заводы и фабрики, другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних ртов. Не думаю, чтоб я уж очень объедал семью, но тем не менее меня спровадили в город, а старший братишка, Митька, оставшийся с родителями в деревне, умер, после чего уже вся семья перебралась в Красноярск. Мальчишеское воображение и сердце в ту пору еще не умели, да и не было поводов (детей не посвящали ни в сложности, ни в трудности жизни) заходиться в тоске и безысходности. Тогда жизнь воспринималась мною (как, впрочем, всегда и всеми детьми), как сплошная поразительная сказка, в которой было тьма непонятного, порою пугающего, но вместе с тем все вокруг было светлым, беззаботным, до удивления возможным, своим, а главное - годным для жизни, и нередко детское сердце переполняло радостью предощущений подлинного понимания праздника жизни, которому не будет конца. Часто поздним летним вечером на пологой крыше погреба, запрокинувшись на спину, лежал, радостно замирая под властью темного звездного неба, необъяснимо маясь, волнуясь от чуда мироздания, и Млечный Путь, казалось, неотступно манил в свою хрустальную глубину, завораживал своею далью и обещал в конце усилий, познаний и труда приобщить к своему вечному мерцанию. Невзгоды страны вместе с "головокружениями от успехов", как нарекли их несколько позже, канули в повседневности, заботах, труде, растворясь в терпении, добре и мощи народа жизнь входила в свои прекрасные права.

В один из таких замечательных дней человеческих именин мы с отцом были где-то на Бадалыке (название места осталось,

должно быть, еще со времен татаро-монгольского нашествия), что километрах в тридцати от города. Запасали сено на зиму. Отец косил, а потом вместе уже высохшую траву небольшими охапками носили к повозке. На подобные заготовки отец брал меня не впервой. На сей раз он не нашел ничего остроумнее, как косить траву на военном полигоне, стрельбище, где совсем невдалеке белели плоские фанерные домики-мишени и такие же сплюснутые и оттого смехотворно-миролюбивые танки, и даже их темно-бурый цвет не делал их внушительнее и опаснее. Однако смешного было не так уж и много, скорее это было безумием, но отец, увидев здесь сочные, свежие травы, не мог удержаться, чтобы не накосить их для своего любимца - старого мерина.

Опасность была явной хотя бы уж и потому, что в этой ядреной траве то тут, то там валялись полувзорвавшиеся, начиненные небольшими металлическими шариками снаряды, а местами так и целые лежали, и хотя все устремления мальчишек моего возраста были мне не только понятны, а просто-напросто и не в меньшей степени были и моими, не помню, чтоб меня уж очень тянуло нагрести полные карманы этой дурацкой шрапнели. Настроение, несмотря на необычность обстановки, было не очень романтическое, скорее напротив, - тревожное, неуютное, и все время пересыхало горло. Я старался поймать взгляд отца, но ему, как видно, все было нипочем, и он с азартом и увлеченностью косил, полагая, должно быть, что его этаким полуметровым снарядом не очень-то и свалишь. И все это так, и все действительно хорошо, только как же я-то?.. Однако все вдруг изменилось, прервав мои размышления, и стало тревожным, даже непонятным, пугающим. Отец как ошпаренный бросился в траву, жестами и нетерпеливым шиканьем заставляя и меня сделать то же самое. Было ясно, что вот сейчас-то и тарарахнет и нипочем пропадет моя головушка! Вот уже приближение какого-то грохота ветром донесло... Сейчас - все, конец!

Подъехала небольшая грузовая машина - полуторка, так называли ее тогда, это значит, что полторы тонны груза она могла легко и свободно везти и ничего бы с ней не случилось, и колеса остались бы на месте, и сама она нисколько бы не развалилась. Но это были не единственные ее положительные параметры в характеристике. У нее, например, была деревянная кабина, и у непосвященных людей сейчас это, пожалуй, может вызвать улыбку, а совершенно напрасно: летом, в зной сидишь в ней, как у себя в домике на садово-огородном участке - ни жары, ни зноя, и разница в том только, что там сосны скрипят, а здесь - сама кабина. Ну, понятно, что я позволяю себе некоторое ехидство в адрес этого детища машиностроения в ту довоенную

пору с позиций полувекового научно-технического развития всей нашей цивилизации, а не только нашего отечественного автомобилестроения. Правда, на фронтовых дорогах даже в 44-м году можно было еще встретить это незлобивое сооружение, однако же и тогда оно, помнится, производило ошарашивающее впечатление, как если бы, рассматривая скелет какого-нибудь птеродактиля в зоологическом музее, вдруг заметили бы, что этот звероящер заклацал челюстями. Тогда же, в прекрасный мирный день покоса на стрельбище, рядом со сколоченными из фанеры танками эта машина смотрелась аппаратом внеземной цивилизации, черт-те что излучающим и влияющим на всю окружающую нас и ее биосферу. Я никогда не замечал раньше, чтобы отец - не просто сильный, но не раз удивлявший своих товарищей-грузчиков, когда он позже работал в Красноярском речном порту, на спор носивший тяжести, которые никому не были под силу, - этот великолепный человек вдруг неузнаваемо сник, делая мне из зарослей травы какие-то странные рожи, но самое поразительное: когда через какие-нибудь ну самое большее полминуты подъехала эта машина, отец глубоко и спокойно спал, закинув руки за голову. Нет-нет, что ни говори, а машина эта явно что-то излучала.

- Та-а-к, в выходной денек, когда охрана стрельбища снята-а, мы здесь, на закрытых территориях, потихоньку тра-авку пока-аши-ваем, да-а?

Странное дело - отец обычно довольно чутко спал, а здесь ну просто как провалился, ничего не слышит и не чувствует. Начальник тот, что спрашивал про травку, открыл дверцу кабины и встал во весь рост на подножку машины, оглядываясь по сторонам, отыскивая, должно быть, кого-то. Настроение его явно менялось к худшему.

- Эй, пионер, толкни-ка дядю этого, пусть он ваньку-то не валяет!

- Это не Ванька, а мой папа.

- О, папа!.. А сколько вас сюда понаехало с папой?

- Нас?

- Да, да, да, вас! Кто только что травку-то косил?

- Нас... это... нас немного... Вот, две лошади. Отец мой да я!

- У-у, как интересно... А как тебя звать? - слышал я что-то страшно знакомое и родное...

- Кешкой...

- О! А я думал - Власом... "Ну, мертвая! - крикнул малюточка басом... ворча себе под нос известные стихи Некрасова, направился он к отцу, - рванул под уздцы и быстрей... задремал", - начал он как-то нехорошо видоизменять нашу русскую классику.

Ничего не понимаю. Отец сегодня то сразу заснул, то быстро, свежо и ясно вдруг проснулся, как, впрочем, делал это порою и раньше, но не всегда, и как старому своему доброму другу ни с того ни с сего ляпнул этому начальнику:

- Ну что, брат, как ты живешь, ничего? Кешка, давай костришко быстренько сваргань, сынок! Картошки испечем, яйчишек сварим, чайком ребят угостим...

На какое-то время начальник тот несколько оторопело и уж очень внимательно впился в отца глазами, вроде заметил на нем что-то страшно заинтересовавшее его; он даже нагнулся. Отец и дядя, застывши, смотрели друг в друга. Потом эта немая самодеятельность последнему, как видно, надоела, и он сказал:

- Ладно, ты мужик, я вижу, сообразительный, так давай-ка запрягай своих коняшек и мотай отсюда, чтоб глаза мои тебя больше не видели вместе с твоими вареными яйчишками, понял? Ну вот и давай, милый, намазывай!..

В кузове машины поднялись хохот и улюлюканье.

- Это, брат, совсем не так... Свежий чай да еще на таком раздолье никогда и никому не лишнее... вареные у тебя яйца или нет, - просто и мягко говорил отец. Он, как все сильные люди, не любил ссориться, и, кажется, даже не умел, а зная, должно быть, что его великолепный рост и статность мужика всегда вызывали расположение окружающих, поднялся.

Тема вареных яиц была, как видно, близка, а потому пришлась по душе всей ораве, что приехала под началом этого неглупого и в общем неплохого парня, и они, вначале обсмеяв отца, чуть не вываливались из кузова, хохоча теперь уже над своей властью, однако самое замечательное, что и сам "стратег" тот вместе с отцом смеялись не меньше. Смеялись все, но сено забрали, сетуя и объясняя тем, что нас засек в бинокль какой-то очень большой начальник, дежурный по военному городку, и что без сена им возвращаться вроде бы даже и нельзя - ну, врали, конечно. Просто самим не хотелось косить - лень, а сено для военных лошадей нужно. Однако указав нам направление, где без помех мы все же могли бы накосить травы, они уехали.

С этой минуты каждый шаг, поворот дороги, отдельно, осиротело стоящее дерево или испуганно прижавшееся друг к другу зеленое братство, тихо и немо смотревшее нам в спину, прохладная свежесть воздуха, живительный запах свежескошенной травы, что оставили нам наши друзья, огромная спина отца, молчаливо сидящего впереди - все, все готовило и приближало меня к моему первому и страшному открытию. Не думаю, чтоб отец понимал или знал толк, чувствовал зов давно ушедшего времени, просто случайно, должно быть, остановился

там, где остановилось, но место было на редкость удивительным и таким диким, что вот уж действительно ни в сказке сказать ни пером описать. Эту последнюю фразу я написал, пожалуй, в оправдание своего неумения создать атмосферу того, что почувствовалось на том диком месте. Это была самая высшая точка длинного пологого косогора, по которому мы долго поднимались. Спад за этой вершиной был резким, местами крутым обрывом и уходил вниз сразу и определенно, теряясь, казалось, в нескончаемой, завораживающей вечерней мгле балки. Оказавшись лицом к лицу со столь широко, полно открывшимся передо мной миром, я был поражен необычностью и дикой красотой его, раздольем того открытого места, выбранного для покоса, прислушивался к сиплым прерывистым стрекотаниям, свистам, пискам, шорохам, невнятным таинственным шепотам, ползущим отовсюду, говорящим о доброй мелкоте вокруг, вдыхал в этом насыщенном покое жизни прохладу засыпающей природы, а фырканье и храп поодаль пасущихся лошадей уносили открытое, готовое для фантазии и мечты мальчишеское воображение в недавно проходимые в школе, но давно отшумевшие во времени набеги Золотой Орды. Жизнь, это чудо, во всем выявлялась здесь явно, сочно, щедро. Должно быть, не хватало ни душевных сил, ни только-только проклевывающегося сознания, чтобы, если не вместить, то хоть как-то противостоять этому преждевременному, безусловно неравному столкновению. И много вопиюще несовместимого здесь вдруг совпало, объединилось, подчиняясь моменту, словно желая избежать малейшей возможности неточного или ложного толкования и, бесцеремонно обнажив явь, представило ее такой, как она есть.

Солнце уже зашло за край земли, но золото его лучей зло, ярко осветило оттуда в темных, по-вечернему печальных облаках кромки их и глубину образовавшегося просвета. Распахнутые ворота эти были ослепительно четко очерчены. В мрачных, сгущающихся сумерках они создавали впечатление зияющего, наглого входа в какой-то иной, вечно утопающий в праздничном и оттого неприятном освещении мир, где лишь из-за отдаленности этой пугающей и зовущей цивилизации не слышны были звуковые проявления вечной жизни, которые там, сливаясь с голубой почему-то прозрачностью позолоты всевозможных храмов, замков и дворцов, возносились вместе с ними в неизъяснимую, недоступную высь.

Нет! Нет! Я был здоровым ребенком и, если болел золотухой и годами меня донимали лишаи - неминуемая, должно быть, дань любви ко всяким бездомным и своим кошкам, собакам и телятам, то эти недуги не могли служить основанием для душевных

изъянов, рефлексии и слабого самочувствия, но я, очевидно, был так подавлен и атмосферой полигона, и страшно долгим путем к этому высокому месту, и загадкой полыхающего света в глубинах тех ворот, и общим настроем позднего вечера уходящего лета, что находился в состоянии какого-то страшного возбуждения. Глядя в этот зияющий провал, я вдруг четко осознал крохотность человека, временность нашей жизни, отчетливо ощутил ее краткость, что все мы, как это прерывающееся стрекотание кузнечика в траве: сегодня живем - стрекочем, а завтра навсегда замолчим и никогда, никогда уже... никогда...

В страхе и исступлении я метался, катаясь по траве у телеги, и стонал, кричал, несогласный с законами природы, с их вечными проявлениями. На мои вопли спешил отец, загородив своим силуэтом уже исчезающий, оказавшийся тоже временным и коротким вход в загадочную, зловеще-красивую вечную даль неизвестного. Задохшийся в бессильной истерике, на простую, вечно живую заботу отца - что со мной? что испугало меня? - к великому сожалению сейчас, не мог сказать правды тогда: открытие раздавило, оно было страшным, явным и неотвратимым. Дальше предстояло жить с ним. Наив и детство кончились навсегда!

Прибитые тишиной, мы ждали рассвета, наивно надеясь, что его приход избавит нас от предстоящей заведомо обреченной схватки, однако и предположить не могли, что это уже давно началось. Ночь жестко обозначила крайности, но то, что выявилось, было пределом, приучить к которому было едва ли возможно вообще. Озираясь вокруг, мы не могли взять в толк: что же это такое? И как ни напрягали слух, ни вглядывались в неясные пятна, выплывающие на нас из серой мути тумана - ничего оттуда не приходило, зыбкие разводы превращались в темную слизь соседних строений, отнимая у нас последнюю надежду. Дело в том, что нас осталось четверо. Где хрипун, Телегин, где раненый, что так невероятно стойко держался со всеми нами, теряя вместе с кровью силы и сознание, и, наконец, где те двое не только здоровые, но просто здоровенные детины, - два солдата, что виделись гордыми, неутомимыми сказочными витязями на общей усталости остальных, когда, отбив последнюю атаку и приходя в себя, мы толкались друг о друга в нестройной общей группе. Где все они? Куда вдруг и зачем подевались? И как, наконец, мы-то теперь? Сколько не проносилось бы подобных и других вопросов и как бы исступленно-неистово мы не вопрошали себя и окружающее нас - ответа не было. И как-то само собою выходило, что именно тишина и туман своей западней были повинны в нашей отверженности и, теперь уж просто ясно, в

нашей обреченности. Вспомнился замечательный сержант, и мысли о нем не были столь хороши сейчас, как те, что приходили раньше. А его невероятная энергия вообще показалась какой-то дьявольской, хотя именно она оставила нам жизнь тогда, но тем более непонятно - почему же теперь-то, когда эта ее направленность была так необходима, она вдруг стала другой?? Что разрушило ее непримиримую стать и увело его куда-то? Припомнилось вдруг то, что он вроде собирался сказать мне что-то... да-да... и, как виделось по лицу его тогда, что-то важное... но я, должно быть, не показался ему, не вызвал доверия или просто-напросто пришелся не по душе, вот он и сбежал от меня как от чумы, придумав какую-то нескладную историю о фокуснице с солью.

Туман, один туман. Без продыхов, приступом стала давить мысль о лейтенанте. И чем больше я старался не думать о нем, тем назойливее человек тот вставал передо мной, я видел его грустные глаза, слышал голос. Противясь завладевшей мною идеей, шарахаясь в стороны в надежде уйти, освободиться от наворота уставившихся в меня глаз, боясь, признаюсь, как бы невольно указанное им место в цепи обороны не обернулось предсказанием, пророчеством для меня ("Ты и должен быть здесь, иди туда, между сараями"), я метался из одного угла двора в другой и обессилев оказался там, куда она так неотступно призывала - между сараями у моего соседа справа. Стоял и тупо соображал: "Сюда-то зачем занесло меня? Как неловко лежит он на боку". Кольнула боль. "Это же я оставил его в таком положении..." Бедняга был неузнаваем. Предрассветный иней не успел осесть на его лице, оно было открыто и искажено последней страшной мыслью. Нагнувшись поправить его, обнаружил под колесом перед ним два полных тяжелых диска, я увидел их, как если бы сам положил их туда, и с облегчением понял, что именно мысль, что у него не могло не быть запасных дисков, все это время досадным сожалением томила меня, ускользая от конкретного осознания. "Она и привела меня сюда", - успокаивал я себя. Объяснение смягчило навязчивость исчезнувшего лейтенанта и радость, что для "предсказания" его нет пока никаких ни причин, ни оснований, что все это нервы, усталость, что всему виною этот вползающий брезжущий рассвет, заронила в душе что-то вроде надежды и тепла, но тот миг оттепели был недолгим, и уже в следующее мгновение все было вытеснено тоской, и она оставила молча стоять у развороченной жизни.

- Ты не очень бы торчал тут... видишь, место здесь самое такое... - Из глубины двора шел солдат, кого я двумя часами

раньше допек своими выспрашиваниями. Он хоть никак и не выделил слово торчал, тем не менее прозвучало оно не очень уважительно. Уж не узнал ли он меня? Но, поразмыслив хорошенько, понял, что ошибся: во-первых, если бы он заподозрил, что это я, уж наверное, как-то оценивающе взглянул бы на меня - кто же это не давал ему покоя ночью? - и, уж конечно, не заботился бы обо мне теперь, а во-вторых, он тогда в темноте почти и не смотрел в мою сторону и узнать он меня мог только по голосу. Опасаясь, как бы не напомнить ему о себе и своей приставучести и опять не возбудить в нем неприязнь, затаясь и опустив голову я собрался было отойти к углу маленького амбара. В этот момент он хотел было что-то сказать и совсем не вдогонку, а прямо мне и в лицо - я видел это, но он, должно быть, передумал. И совсем не лучше меня, а таким же столбом остался торчать между амбарами. Поразительно - в том мгновении было что-то... Я знал, почему он стоял там, и даже знал, что собирался сказать мне. Бывают минуты, когда наверное знаешь, какие мысли сейчас начнет высказывать тебе твой собеседник. Расхождение лишь в словах, но мысли точно. Та минута была именно такой, и не бойся я разоблачить себя перед ним, я и сам бы сказал ему примерно то же самое: "Ничего, пусть видят, что мы живы, что нас еще предостаточно и оттого мы ходим в полный рост, а нет просто стоим, молчим и в ус не дуем". Мысль эта осталась невысказанной ни им, ни мной, потому что в ней все было неправдой, кем бы она не была сказана. Она не могла что-либо изменить ни в положении, в котором мы оказались, ни в нас самих. И мы молчали, каждый на своем месте: я - подпирал стенку, он - неудачным пугалом торчал у колеса моего соседа справа.

Да и что говорить: как ни страшна действительность вокруг, но дорога перекрыта, деревня - наша, те, за насыпью, не прут, ночь на исходе, впереди день и жизнь, хоть и через пень-колоду, но катит своими непростыми путями, катит, и мы живы, черт побери, стоим, торчим и подпираем, и что самое поразительное - все еще надеемся. Вот только не достает уверенности, что порядок этот будет долгим, и оттого немного точит сожаление, что тех наших пяти товарищей нет с нами, тогда уж совсем было бы хорошо, славно и прекрасно.

Но на фронте, видно, такое если и бывает, то страшно редко - вот и мы подпали под эту неумолимую, нехорошую сторону статистики. Меня-то больше всего снедала вероломная скрытность их ухода. Уж такой "тихой сапой" все произошло, что долгое время не покидало ощущение, что все они должны быть где-то здесь, только затаились. Но время шло, а они все не

выползали из своего подполья, и становилось больно и все более беспощадно ясно - они ушли. Ну, допустим, этот скоропалительный уход их был необходим - раненые, и один едва ли не безнадежно, и Телегин слаб, необходима помощь, кто спорит, все понятно и правильно, - но, хорошо... а мы-то как же? Какие ни на есть, а тоже, поди, живые из клеток, нервов, видим, слышим, чувствуем и, что смешнее всего, то же самое хотели бы проделывать и впредь. А вот поди ж ты - не всегда сбывается, что хочешь! Отведите раненых и возвращайтесь - речь ведь все-таки идет о жизни вместе с вами отстоявших деревню четырех товарищей.

Первые приметы утра за неровной размытостью тумана порою приносили с собой надежду увидеть возвращающихся, но туман плыл, превращая идущие тени в темные стены амбаров, и тоска новой холодной волной обдавала душу.

Время от времени из кювета дороги высовывалась макушка одного из наших дозорных (второй был где-то за деревом - вот, собственно, и все наше могутное войско), он вопрошающе немо глядел в нашу сторону и, не узрев ничего нового, так же тихонько исчезал в своем укрытии. Да и кого спрашивать, о чем? Разве что самих себя, но тогда должно было бы и ответить... этого сделать нам было не дано!

Из серой мути тумана, как из-за нарисованных облаков в кукольном театре, выдвинулось вдруг темное лицо. Я знал, что он где-то там, но это внезапное явление из-за слившегося с туманом дерева было как бы выдуманным, нарочным, причем придуманным плохо и оттого несколько нелепо-смешным. Все вокруг было слишком иным, страшным, и появление этого "петрушки" было некстати настолько, что, скажи он с какой-нибудь фистулой или писком в голосе, мы бы даже хохотнули, наверное, но солдат спросил до обидного просто, ясно, что напрочь не вязалось с его помятым изнуренным лицом:

- Будем, нет, что делать?

- Снимать штаны и бегать! - сердито проворчал мой знакомый, но так, что слышал об этом редком, развеселом аттракционе только я. Этому, должно быть, трудно поверить, но я испытал тогда момент некой радости - оказывается, не я один способен вызвать его раздражение.

- Я куда тебя просил смотреть? - теперь уже намеренно громко грубым, надорванным голосом нетерпеливого массовика-затейника заорал он на дозорного. - Ну-ка напомни мне - куда?

- Я смотрю... толку-то что? - И страж исчез за белесой размытостью дерева. До меня вдруг дошло, что я, оказывается, стою рядом с вновь испеченным начальником и, чтобы не

накликать на себя гнев, а больше, наверное, из желания показать, что я умею не только торчать, но и быть исполнительным солдатом, почел за благо быстренько спросить:

- А мне куда смотреть?

- В жо-о-пу!

Как видите, ответ был коротким, но совсем уж не по делу. Хотя бы потому, что не считаю, что, упершись взглядом в такое, можно было как-то изменить наше положение к лучшему. Я стоял и ждал, что сейчас разразится скандал в связи с невыполнением приказа... а я, честно говоря, вообще не представлял, как такое могло происходить; может быть, он просто так, к слову решил сказать, хотя лицо было очень серьезным, но он тихо, как-то совсем по-человечески вдруг попросил:

- В самом деле, ты не стоял бы на одном месте, а там покажись, в другом где месте выползи, высунься... если что заметишь - я здесь, и тоже поползаю, покажусь... поору. Кстати, и поорать было бы не лишним...

Боже мой, Боже мой! Как же это я просмотрел, совсем... не заметил даже... так ко мне мог обратиться только друг, оказывается, они у меня есть и я им нужен... нужен. Вот сейчас же буду орать... что бы такое дельное придумать? Как он это... здорово... не стал выговаривать меня больше и только как-то вскользь, но все равно не приказал, а попросил меня поорать... Нет - он замечательный такой. Друг! Поймал себя на том, что очень хочу быть похожим на него. И орать буду, как он... Ага, вот: "Эй, вы, что вы там притаились за полотном, дурачье вы этакое... Все, небось, смотрите сюда, а смотреть-то нужно совсем в другое место!" Нет, так не годится, чем же все они там виноваты, что у меня здесь друг появился?

Непонятный, странный грохот, внезапно появившись, застал нас врасплох. Звук шел откуда-то сверху... нет - от амбара, теперь за нашими спинами!.. Гул быстро нарастал, и вскоре на дороге, что вела из деревни в лощину, с каждым моментом все четче вырисовываясь, вылетела пара мчащихся галопом лошадей, запряженных в легкий прогулочный тарантас. Возницы видно не было похоже, что повозка была пустой, и обезумевшие лошади самостоятельно неслись в серый рассвет. Казалось, в каждое следующее мгновение они врежутся в изгородь, строение или дерево, но грохот, так неожиданно прервавший хоровод прекрасных мыслей и возмутивший дремлющую тишину вокруг, быстро уходил, таял и совсем замолк в лощине, оставив по себе лишь отголоски невнятного шума. Предыдущей ночью повозка эта (я узнал ее сразу) много раз обгоняла нас на марше, когда в темноте мы стремились сюда неведомыми путями-дорогами. В

ней ехал тогда наш командир батальона, капитан, и еще какой-то офицер, дремал, должно быть, развалившись, сидел рядом. Теперь пустой экипаж загадкой прогрохотал мимо, и лишь мечущиеся в воздухе черными змеями оборванные концы поводьев говорили о том, что лошади, напуганные чем-то, сорвались... и как ни странно - это было прекрасным знаком: "значит сам-то капитан остался, он здесь и обязательно придет и приведет с собою, он же старший, того офицера, что сидел с ним рядом в ночном экипаже... прикажет и все - никуда не денешься, да и вообще наведет какую хочешь подмогу, и лейтенанта нашего отыщет, и сержанта того с точилом вместо горла вернет, да и мало ли кого еще... многие вчера оставались там в доме, да, наверное, и в других строениях, так что все в порядке, сейчас-то уж мы им не дадимся и без орудия, а повезет - так, глядишь, и деревню удержим и жить останемся... и друг теперь у меня есть, и он, вот он - рядом торчит... нет... это... так что - будь здоров - кони-то одни мчались. Этот факт никуда не денешь, седоки живехоньки, и они остались здесь. Теперь только надо запастись терпением и подождать немного, всего-то дел - подумаешь!" С этим рождественским настроением и как-то неестественно улыбаясь, я и подполз к своему не очень разговорчивому начальнику - другу. Тот, не отрываясь, смотрел вслед умчавшемуся живому испугу. Что приковало его так?

- Что там, друг? - мягко и как бы между прочим, как само собою разумеющееся, хотел выговорить я, но получилось как-то нарочно, и я поспешил сделать вид, что сам немало удивлен тому, что в самый неподходящий момент что-то там в горле засвербило и оскал этот дурацкий откуда-то взялся. Сначала он только скользнул по мне взглядом - отстань, дескать, но здесь же вернувшись, рассмотрел меня намного дольше, чем того требовал бы человек, просто спросивший: "Что там, друг?" - так что продолжать выяснять, что там или где-то в другом месте, было довольно глупо да и просто рискованно, я понял это по его взгляду. Должно быть, воспоминания ночи были еще слишком свежи.

Между тем туман, поднявшись в долине, завис теперь над нею мягким, неровным потолком, и мы здесь, лежа на возвышении, просто упирались в него головами. Лошади, казалось, ликуют, видя наконец перед собой открывшийся их взору добрый, светлый, привычный их лошадиному ожиданию мир долин, лесов и так понятных им твердых дорог, и они в далеком ровном шуршании, в упоении скользили к насыпи.

Долина сияла, словно ее за ночь старательно отмыли, свежесть утра одарила ее хрупкой прозрачностью, которую мы все

так ждем и любуемся ею ранней весной. Совершенно непонятно, как из такой красоты и нежности вчера могла идти смерть. Поражала чистота воздуха - лошади были далеко, но виделись так, словно мчались вот здесь, где-то совсем рядом, но только очень маленькие, словно вырезанные из картона и покрашенные в темный цвет.

- Тихо, нишкни! - зашипел вдруг почему-то опять зло старшой, точно я помешал ему прислушиваться к чему-то страшно важному. По тому, даже малому опыту общения с ним, было ясно, что доброе в нем до обидного близко уживалось со злым, неприятным, психованным, и психопат-то в нем сидел нехороший, особенный, дерганный какой-то, и это было так обидно, так жалко. Во, посмотрите - словно через него электроток пропускают: глаза навыкате и зубами скрежещет, как если бы перед ним был не я, а какая-нибудь Красная Шапочка. Я решил переждать, когда в нем опять появится тот славный, заботящийся друг... но сполохи каких-то звуков, словно шорох огромного растревоженного муравейника, шумовой круговертью расползаясь по двору, поглотили все наше внимание.

Что такое? Опять, как в глубоком колодце, заглушенно вещали голоса, но что, на каком языке - не понять, и голоса ли? Нет... Какие-то смятые звуки? Двор явно таил в себе акустические загадки. Но затем все ушло, стихло. И мы были предоставлены несколько неловкому недоумению: было это... или нам уже стало чудиться? То слышалось отовсюду, то, словно тая, уходило в какую-то одну сторону, с тем чтобы здесь же появиться с противоположной, и как ни вертелись мы в разные стороны в надежде определить: что, куда и откуда понять не могли. Голоса... приглушенные голоса... А вот явный, поспешный топот, мелкие удары... скрипы...

Сухой стукоток пулеметной очереди из долины резко и нагло возвратил нас к делам земным и не менее странным. Лошади во весь опор, но как-то косо, боком неслись на фоне редких, высоких деревьев, одна из них вдруг резко вскинулась на дыбы, неестественно высоко выгнув голову. С запозданием до нас долетел повторный стук пулемета, и пронзительное до боли ржание животного возвестило долину об уродливо начавшемся дне. Верный друг человека, находясь во власти инерции, со всего маху ломая оглобли и собственные ноги, терял вместе с жизнью гармонию движений своего прекрасного тела, тяжело и некрасиво перевернувшись через голову, грузно рухнул на землю. Вторая лошадь в смятении ринулась вперед через груду своей поверженной подруги. Удерживающая упряжь отшвырнула ее назад; упав, она лихорадочно пыталась освободиться от

сковывающих ее пут, тяжести и страха, какое-то расстояние тащила все, что оставил ей в наследство "венец мироздания" - человек, и, выбившись из сил и теперь повинуясь лишь инстинкту самосохранения, стремилась (невероятно!) сползти с дороги в кювет, бешено дыша и неистово колотя в воздухе ногами.

За полотном проснулись, и настроение у них, судя по этому поступку, было не очень миролюбивое. Не только долина, но и многое другое прояснилось! Ничего не говоря, не сзывая друг друга, мы собрались вместе, словно нас толкнуло на это "вече", как ту несчастную лошадь, некое подсознание; мы впервые были все рядом, никто не обмолвился ни единым словом - мы все еще ждали, очень хотелось жить - и мы ждали. Кто-то временами уходил к углу маленького амбара взглянуть в лощину и, вернувшись, становился рядом, словно не уходил, не смотрел. Первый раз мы видели близко и открыто лица друг друга. И хотя все мы были из одного батальона - одно подразделение, но не помню, чтобы мы знали фамилии один другого или имя. Мы не знали, кто мы, откуда, но знали и видели одно - мы родные, свои, как и те, что лежали вокруг нас. Теперь неожиданно по-новому встречали друг друга глазами, не стесняясь, не гоня эти встречи и не объясняя их. Мы знакомились, задавали, должно быть, вопросы и, наверное, отвечали на них: немо, без слов, беззвучно. Всякий звук отвлек бы нас от этого необходимого, первого и последнего общения. Смотрели прямо, просто. Четверо голодных, страшных, истерзанных, загнанных (просится слово "прекрасных", да так оно наверное и было) людей стояли, смотрели и молчали. Было ли то общим пониманием, вздохом, признательностью, теплотой ли - не знаю и не узнаю никогда; отрешенность тех минут растворилась в беззвучном разговоре надорванных сердец. И уж не пригибаясь, не высовываясь, не прячась, ничего никому не доказывая и не крича, просто бродили по двору то все вместе группой, то кто-то отходил опять, чтобы через какое-то время сойтись вместе.

Прошло часа два. Что происходило в эти долгие и страшные часы пустоты припомнить не могу, должно быть, ничего такого, что принесло бы нам хоть какую-нибудь надежду, но мы все еще ждали, чтоб ни в коем случае не шли с одной стороны, а если бы шли, то только быстрее, сейчас... и чтобы обязательно, во что бы то ни стало пришли наконец с другой, и тоже было бы невероятно, но хорошо, чтоб побыстрее. Но, исчерпав терпение все, видя, что мы перестали, маясь, бродить по двору - стоим и смотрим в его сторону, наш старшой сказал (это были единственные слова, прозвучавшие здесь за эти часы):

- Ну что же... видно... не придут.

Каждый к этому времени знал, что он связывал с ожиданием,

и было непросто отказаться от тех прекрасных надежд, однако сделать это было необходимо хотя бы для того, чтобы избавиться от тяжести ожидания. Стало, может быть, не легче, но, как казалось, проще, яснее. Теперь мы были готовы совсем и, если прислушивались, то лишь к тому неизменному в нас самих, великому, что вело и то обезумевшее несчастное животное, когда оно ползло в кювет.

Какое неуравновешенное, во многом непонятное существо человек: то единение ему необходимо, то, напротив, разбредясь по двору каждый теперь хотел быть только один и знал, что все вместе соберемся, лишь когда пойдут те, другие, а в общем-то такие же несчастные, из-за полотна, ну что ж... теперь уже недолго. Невыносимый, страшный холод охватывал все существо, душила тоска. Быстро иду в глубь двора, почему - не знаю, может быть с тем, чтоб минутою позже с пустым устремлением нестись обратно в неосознанной надежде, должно быть, найти свой кювет.

Никакой определенной мысли, вернее, возмущенный рой их не позволял какой-либо одной осесть в сознании - все вытеснялось страшным сожалением непоправимости, тоски. Остановился, почему вдруг остановился и именно здесь? Смятение, вернувшись, опять зацикливалось на фразе лейтенанта - стоя у этого угла, недоуменно глядя на меня, он произнес ее. В этой части двора я сегодня еще не был... Оглядываясь, понимаю, что возврат к фразе лейтенанта вызван тем, что стою, оказывается, неподалеку от места встречи с ним. Сейчас у угла пусто, как, впрочем, и вокруг. Лишь множество воронок от разрывов крупных мин, а на снегу лежат, как и по всему двору, но лежат как-то навалом, грудами. Здесь, видно, раненым никто не помогал, санитары не успевали, должно быть, не трогали их, и они остались в том положении, в каком их застала смерть. От неясного странного опасения опознать в одном из погибших здесь лейтенанта, то ли от другого чего, но не стал приглядываться к погонам, высматривать - есть ли патроны и, не дотронувшись ни до одного из них, ушел прочь. Невыносимо...

В подобном состоянии находились все - от большого амбара ко мне спиной, пригнувшись, бежал солдат, к двум живо вышагивающим в разные стороны, как у важного объекта почетный караул. "Что вдруг вздумалось ему опасаться, прятаться, заметил что?" - крикнуть, спросить - не хотелось. Бежать к ним?... если серьезное что - позовут, но тоже, помню, пригнувшись, пробежал к своей булыге между амбарами. Странно... Ночью во время той страшной атаки немцев промелькнуло что-то вроде сожаления, зависти: вот у солдата железное колесо, броня - надежно, не то что у меня каменюга

природная. Теперь колесо "освободилось", за ним погиб тот мой товарищ. И несмотря на то, что колесо то осталось тем же непробиваемым щитом, как и раньше, чувство самосохранения направило меня к моему маленькому, никудышному, всего-навсего кусочку песчаника, к моему защитившему меня камню. Нигде никаких признаков появления "тех". Странно, а он бежал быстро, пригнув... о-о, что это? У торца малого амбара, задрав голову и прикрыв глаза, казалось, что-то вычисляя, тихо стоял солдат! Вот те на-а! Его покой был долгим, основательным. Во всяком случае он никак не мог только что возбужденно маршировать или бежать, а теперь вот так ни с того ни с сего спокойно прилипнуть к стенке и что-то такое философствовать?! За амбаром послышались возбужденные восклицания. Либо показалось, что их там двое было шагающих, либо этот у стенки...

- Слышишь, что у вас там, стряслось опять что-нибудь не так, не туда смотрел что ли?

Тот, не понимая, уставился на меня.

- Где стряслось, что стряслось - не пойму?

- Разве ты не вышагивал там только что?

- Я здесь давно стою, смотрю, вот.

- Эй, где вы там, сюда быстро! - прозвучало приказом за спиной.

Мы ринулись туда и... застыли... невероятно, перед нами стояли три человека - два наших, своих и один совсем незнакомый!!! ПРИШЛИ! ПРИШЛИ! ГОСПОДИ, ПРИШЛИ!.. Отбойными молотками колотило, стучало внутри, в висках, глазах, горле, двор качало, подбрасывало, все ходило ходуном... Сейчас кричать бы, орать во всю мощь, броситься к этому незнакомцу и раздавить, расплющить за это явление его. Мы и впрямь не одни, еще поживем, с нами наши, свои, и их тоже будь здоров как предостаточно, по крайней мере не меньше вашего, вот один уже сюда пришел и еще понайдут полным полно, тьма тьмущая, так же, как и у вас - так что живем.

- Пришли, пришли, нас много.

- Давай быстренько мотаем отсюда, приказано отойти, и чем быстрее мы сделаем это, тем вернее, вот! - клокотало лихорадочной радостью в нашем старшом. Он живо, что просто никак не вязалось с его всегдашней мрачностью, оглядывал нас, словно ожидал: что дурного можем сказать мы теперь о его кратком, но вот ведь прекрасно завершающемся командовании. И он как-то хорошо, радостно взглянул на меня.

- Да-да, брат... - хлюпнуло у меня, но дальше почему-то воздуха не хватило.

- Тебя кто послал? - обожгло его вдруг и радость в нем да и в

нас заметно поубавилась.

- Сам я не пришел бы сюда, как ты понимаешь, я еще жить хочу, так что не выкаблучивайся и не беспокойся, а быстренько линяем отсюда, пока есть эта возможность, и вся недолга.

По сути новенький говорил просто замечательно, но никак не мог отойти от одышки, душившей его. Наверное, проделанный им путь был не близок и не прост, он едва переводил дыхание, с него катил пот; выкатившимися глазами, но, ничего не видя, он как заведенный то смотрел на ствол большого дерева, то вроде осматривал у себя под ногами какое-то невероятное большое чудовище и опять возвращался к дереву. Полы и грудь его шинели были все в мокрой глине, он, должно быть, долго полз. По мере того как дыхание его успокаивалось, сам он становился страшно озабоченным, не то настороженным или это только казалось так на фоне наших счастливейших, уставившихся в него, как в божество, лиц. Вообще новенький был, как припоминается, очень своеобразным типом, его легко можно было бы сыграть. Уже успокоившись, он говорил так тихо, буднично, таким унылым голосом, вроде у нас был страшно большой выбор: захотим - будем линять, а можем и не захотеть, и тогда будем предпринимать какие-нибудь другие всякие химические процессы и реакции. В любое другое время над ним можно было бы всласть посмеяться, душеньку потешить, отвести.

Теперь же тон голоса и его манера говорить звучали бы полным безразличием, если бы не душившая его одышка, которой с лихвой хватало, чтоб заключить: в каком непростом мы сейчас положении.

- Ну так что... сколько вас еще... там вместе с капитаном кто-то из ваших... - Голос у него - вроде стружку с тебя снимает; объяснил: - Совсем немного, человек шесть, семь... так я вот...

- О-о, хватил, где же это он их насчитал. Это было бы здорово, вот... но... нас всего четверо... здесь мы все, вот, а там... уже пришли? - сел на своего любимого конька мой... наш командир. Так что же ты, как тебя, сержант, что ли?..

- Что я... сказали: отведем раненых и вернемся - ждите, ну и что... где они?.. хорошо еще, что совсем не забыли - прислали, а то ведь... только на людей кричать да свою шкуру спасать...

Надо полагать, связной и раньше сознавал, что забежал сюда не мед пить, но только теперь, казалось, начал понимать, куда он заполз; и хоть он старался говорить все тем же постным голосом, однако эти усилия его были отчетливо слышны, и он сам с сожалением понимал это, но поделать с собой ничего не мог, наверное, потому смотрел на нас совсем по-другому.

- Ну а ты... слова сказать не можешь... дошел, я вижу, до

ручки, а дрожишь-то чего? - без зла переключился новенький на меня в надежде за шуткой скрыть ожог от всего узнанного, однако голос упорно отказывался повиноваться, не слушался его, а по тому, как он ворочал глазами, теперь уже просто переводя их с одного из нас на другого, было очень ясно, что ему здесь не нравится. Как бы там ни было, а задание свое он проделал просто геройски, по-другому не могу определить его поступок, а то, что теперь он был в полном перепуге - так четырьмя-пятью часами раньше мы были точно в таком же состоянии, а может быть, еще и почище. Он был связной и пришел к нам, но то, что перед нами был полный, добрый, славный лапоть - это тоже виделось и ощущалось сразу и, пожалуй, больше всего. И если он все же, назойливо прицепясь, пристал ко мне, то только от того, должно быть, что почувствовал во мне некоторую схожесть с этой редкой разновидностью обуви. Два сапога принято называть парой. Совершенно заблудившись в ощущениях, он пытался было даже подбодрить нас (но у него и это как-то не выходило, вернее выходило, но так неуклюже, что было бы, пожалуй, лучше, если бы это не выходило совсем), его тем не менее вывернуло на правильную дорогу - со мной, например, он был прав: меня трясло как в лихорадке, по-моему я ничего не соображал, не понимал, все восприятия жизни были вытеснены одним понятием линяем! Оно захватило меня целиком своим "улетучиванием", невидимостью, оно невероятно полно вобрало в себя все, что чувствовали и жаждали мы, доведенные до крайности. А вот выразить просто и так замечательно точно никогда бы не смогли. Такое под силу лишь свежему сознанию. Есть в этом определении нечто исчезающее, если даже будешь искать - не найдешь.

- Да вот трясет, не знаю... озноб... от радости, что ты пришел и теперь линять будем и жить...

- Тебе-то куда еще линять, ты и так бледный и прозрачный, как студень.

- Кто, я?.. нет... я - так... я - червь, я - раб, я - это... все хорошо, линяем!!!

- Прежде чем линять, скидывай все, что намотал лишнего себе на шею, спину, червь, все мешать будет, горбатый же совсем.

- Кто, я?.. нет, это сутулюсь я, когда холодно и это... мало во мне мяса... потому что я - царь, я - Бог и... это...

- !!!

Все как-то хорошо - хорошо и тихо смотрели на меня. Неожиданно связной вдруг переменился весь, досада промелькнула по его все еще возбужденному лицу и, хотя казалось дальше некуда, но он еще больше покраснел и глянул

мне в глаза, дескать: "Прости, нашел на ком выместить свою боязнь!"

На мгновение все ушло и казалось - нет никакой опасности, обо всем вокруг забылось, как и о том, зачем он приполз сюда, и он, силясь улыбнуться, вымучил неловко прокисшее выражение лица, но уже миролюбиво и покойно спросил:

- Есть хочешь? - И со значением полез за пазуху.

Новенький стал вдруг мягким, уютным и своим, как тот неизвестный мне котенок за пазухой у Фомы-животновода, и то, что он полез за пазуху... за... за пазуху.

Боже мой! Боже мой...

Тогда я сразу и радостно отвечал на его доброе предложение:

- Кто, я?.. нет... нам бы слинять сейчас побыстрей, а там и поедим, и попьем... и первый предмет необходимости - мыло... Хочешь понюхать меня? Вот от шеи здесь лучше пахнет.

- Нет-нет, зачем это? Не потопаш - не полопаш, - бурчал он, уставясь в меня.

Но сейчас, через сорок с лишним лет, продолжая выстукивать на машинке о том, кто, что и как происходило тогда - просто, легко, непроизвольно напечатал: Фома-животновод... Фомин! Фомин! Конечно же, никакой не Егоров. Я - ошибся, Фомин фамилия, Фомин, именно она, эта фамилия давала ту редкую возможность и желание сочетать, объединить эти два слова в единую кличку Фома-животновод. Да-да, вне всякого сомнения - именно Фомин.

Довольно долго сидел, добрыми чувствами провожая ту прекрасную минуту, подсказавшую так милостиво и просто, что могло навсегда затеряться в тайниках сознания. Там, выше, в черновике-рукописи, поправлять не стану пусть останется ошибкой, которая так и осталась бы ошибкой, смело и уверенно выдаваемой мною за правду, за суть.

Очевидно, огонь на могиле Неизвестного солдата - это единственно возможная мудрая дань наших живых сердец памяти всем павшим ради справедливости, ради продолжения жизни на земле, ради нас живущих ныне.

В общем, мы должны были спешить, но уходить сейчас просто так, оказывается, уже было поздно. Во всяком случае так решило теперь наше двойное начальство: туман поднялся и все как на ладони, дать две внушительные, насыщенные автоматные очереди с четким перерывом между ними просто так, по никому, с единственной лишь целью - заронить в сознание тех, за полотном, что мы будем и впредь резвиться, давать знать о себе, и что у нас полно патронов и всего чего хочешь, и поэтому мы не задумываясь тратим все налево и направо, лишь бы к нам не

лезли, как когда-то по этому поводу сказывал наш светлейший князь Александр Невский. И после второй очереди, когда они уже привыкнут и будут ждать следующей демонстрации нашей мощи и бдительности, мы и намажем лыжи.

- Конечно, все это замечательно, однако мне-то сдается, мы только привлечем внимание к себе и наоборот поразбудим тех, кто все еще дремлет там пока, - не преминул я высказаться, на что мне ответили, что лошадь не Пушкин пристрелил и что все они давно попросыпались и теперь только и ждут, чтоб побыстрей в дома, в тепло.

- Там совсем не так тепло, как ты думаешь, я-то вчера там был и знаю.

- Может быть, им как-то дать знать, чтоб они не очень-то и обольщались насчет тепла, - предложил я, но все были какие-то злые, нервные и замахали на меня руками, сказав, что именно это им и пытались внушать сегодня ночью, но вот что из всего этого получилось. И вообще я заметил, что даже и сейчас-то со мной редко кто соглашается. Ну да что там. В общем, мы повели себя так, как решило большинство, и тем, за полотном, думаю, было над чем поломать свои арийские башкенции. Во всяком случае после первой очереди они совсем попритихли и таращили, должно быть, глаза в нашу сторону, соображая: "Что это с ними там такое, откуда вдруг такая резвость?" Уж не помню, как мы реагировали на эту тишину, но то, что в нас самих стучало не тише и не меньше, чем в наших автоматах, когда мы начали вторую часть нашего профилактическо-воспитательного мероприятия - это я не забуду, кажется, никогда! Все ходило ходуном, и, должно быть, лихорадка эта какими-то там биополями передалась автоматам, и все прозвучало мощно, внушительно и серьезно настолько, что даже подумалось: так, может быть, и уходить никуда не надо? Но этот миг бравады был лишь мигом настроения людей, которые знали, что они сейчас будут уходить, уйдут... приказ есть приказ! Не выполнить его мы не могли. Ничего нигде не обнаружив после второй очереди, мы из пробоины в стене большого амбара ринулись вниз на снег и битый кирпич. До железнодорожного полотна метров двести, поди. Автомат, гранаты, диски и длинная шинель не помогали быстрому передвижению на животе, и все равно мы запросто могли соревноваться с легко бегущим человеком. Вскоре мы были у насыпи. Никогда бы не поверил, чтоб в человеке было столько воды: мы словно выскочили из бани, пот душил нас, мешал смотреть, говорить, дышать, соображать. Все мотали головами, чтоб хоть как-то сбить с себя это половодье. Стало жарко, и мы, как аллигаторы, клацали зубами, заглатывая воздух и хватая снег.

Без команды все остановились; лежим, ничего не слыша, вздуваемся испорченными кузнечными мехами. Глаза вот-вот выдавит наружу. Благо кто-то предложил: "Если нас до сих пор не расстреляли - значит мы не замечены и можем минуту-другую полежать, дух перевести, а то и на насыпь не вскарабкаемся - легкие разорвет на фиг!" Уговаривать не пришлось... распластались. Лежим в полосах снега, рвем его ртами, дыша в его спасительную свежесть. В глазах то темно, то бешено мятущиеся сполохи серой массы насыпи. Вот она, голуба, в пяти метрах... низенькая какая-то, как скамейка.

Такую, я думаю, и пережидать не стоит - враз перемахнем... а вот опять горой взметнулась ввысь!.. и только прохлада снега возвращала нас к себе.

"Ах, голубушка, ну и глупа же ты серая, длинная. Вот еще совсем немного подползем, и рукой достать можно... почти сутки ты была неверна, враждебна нам, помогала тем - скрывала их за собой... теперь-то уж что?"

Мы здесь, теперь только случай мог помочь нам - это понимали все! Старались прислушаться: есть кто за полотном, нет? Шум в нас самих забивал все, слух отказывался принимать что-нибудь извне. Вчера оттуда в этом месте насыпи никто не шел, и связной уверяет, что, когда он полз к нам, там, "за ней", было пусто, иначе он не пробрался бы к нам; правда, он все время оговаривал, что справа от него тогда, а от нас сейчас, значит, слева, двигалась какая-то колонна, но куда шла и где она сейчас - сказать невозможно, трудно.

- На полотно не тянуть, не рассыпаться! Бросаемся все разом, если натыкаемся на небольшое скопление - будем проходить, в ход пускать все: гранаты, огонь, лопаты, зубы... и не останавливаться, а быстро, молнией, только внезапностью прорвемся... гранаты, понятно, бросать в стороны, и, если будут настигать, - назад. Теперь так: если их как вчера, что маловероятно, но вдруг - то скатываемся сюда, обратно, и, не останавливаясь ни на секунду, вдоль насыпи, как можно дальше, в тот край деревни... может, там послабже, другого выхода нет... в общем, по обстановке... и следить за мной. На полотно, повторяю, одним духом и беззвучно - тихо, уж очень открытое место... и туман ушел, ну а там будем смотреть... если будем смотреть... и не такое бывало... - Он замолчал и неприятно сник, зло уставясь в снег. Он соврал - то, что свалилось на нас ночью, можно перенести только раз, даже связной, который не был тогда с нами, почувствовал эту ложь и, взглянув в нашу сторону, где мы лежали с молчуном, что сидел в кювете у дороги, сделал выразительную мину, дескать: "он без злого умысла подбодрить

хочет". Притихли. Старшой вдруг жестом показывает: взвести автоматы, расстегнуть подсумки с гранатами. Вижу, ему что-то шепчет наш солдат, который был рядом с ним, на что тот резко схватился левой рукой за подсумок и зло, одними губами проговорил:

- Там поздно будет смотреть да расстегивать! - И в голос тихо добавил: - Сумеешь сразу, быстро - дело твое. Ну-у-у...

Мы замерли и уставились в него. Зачерпнув горсть снега, старшой, деловито протерев лицо, зло прошипел, словно мы ни в какую не хотели идти:

- Пошли!

Мы бросились на насыпь... короткий приглушенный стукоток по шпалам... с той стороны склон был круче и выше... внизу - два вконец перепуганных лица, развернувшись, обалдело застыли в растерянности и, казалось, летели на нас. Тот, что был ближе к нам на нашем пути, нелепо поднял руки над головой, тихонько прерывисто вопя:

- А-а-а-аз-з!!!

Совершенно багровый старшой, сопя, низвергался на него и должен был смести, раздавить его своей массой, но, извернувшись, он с ходу схватил лежащий на снегу черный автомат и резко мотнул им у самого носа немолодого краснолицего немца. Тот, чуть не завалившись, отпрянул в сторону еще, выше воздев руки; округленными, как у совы, глазами он, казалось, говорил: "Да я и сам не знаю, откуда он здесь взялся!" Однако, молниеносно сообразив, что все может и окончиться этой вот угрозой, с доброжелательной готовностью задергал головой, дескать: "Понял, повторять не надо!" Другой еще сидел со спущенными штанами и, диковато исказясь в подобии улыбки, подстать своему приятелю по утреннему туалету, как дятел, долбил башкой, разведенными в стороны руками показывая, что у него вообще ничего нет, кроме скомканного клочка бумаги. Смех и грех... К сожалению, эта смехотворная интермедия была недолгой и вскоре оборвалась.

Сегодня лес казался страшно далеким... Слева, за спиной, неприятно привлекло внимание скопище едва ли не черных шинелей. Чем была озабочена эта темная масса, что делала - осталось неясным. Впереди не видно было никого. Перед нами - открытое поле, полное свежего воздуха и простора. Пригнувшись, как огромный загнанный кабан, жадно поглощая расстояние, старшой быстро уходил вперед, моментами просто растворяясь в пожухлых кустах, росших вдоль межи. Как если бы почувствовав мой взгляд, он оглянулся и зло мотнул рукой в сторону: "За мной-то не увязывайся, идиот - бери шире!", во всяком случае я понял

так... дальше все пошло не так складно, как началось. Не успел я еще "взять шире", как за спиной слева, вроде досадуя, что мы уходим, нагло, громко вдогонку заколотил пулемет. Нырнул в борозду перевести дыхание и попытаться сообразить что к чему, и... - невероятно!!! - кого-то разрывало от смеха. Высунувшись из укрытия, увидел, что весь огромный провал черных шинелей, развернувшись по фронту, был необыкновенно возбужден: кто-то нарочито прощально махал рукой, как на вокзале отъезжающим, кто-то откровенно аплодировал, заходясь в коликах смеха, кто указывал тому, кто не смог пока углядеть нас, в общем, суматохи мы наделали порядком, успех был полнейшим, вплоть до криков "браво". Меня вдруг поразила мысль: "Почему это мрачное скопище шинелей у насыпи выглядит в нормальную человеческую величину? Они же должны быть крошечными, причудливо лилипутскими, с трафаретно-четкими контурами, как те наивные коняги в хрустальной чистоте утреннего воздуха... или иллюзия, напомнившая игры детства, могла появляться лишь в минуту созерцания чьей-то чужой, посторонней опасности? Значит, сейчас кто-то неправильно ведет себя - они или я; они маленькими должны быть, необъемными и только казаться близко, а на самом-то деле должны быть далеко!"

...Свист, лязг, вой рикошета пуль оборвал ход этих размышлений. То место в насыпи, где перебегали - кипело: пыль, щепы, пар, камни фонтаном летели, расползаясь уродливым черным пятном. И опять все стихло, оборвалось... со стороны леса долетело поблекшее эхо пулеметной настойчивости и в малых паузах его опять четко донеслись... смех, восторженные крики, улюлюканье. Обалдев от непонимания - что же тут смешного? - вскочил и ринулся дальше, но тот же самый пулемет, развернувшись, должно быть, дал ясно понять, что веселье будет продолжено, правда, с одной лишь стороны. Нервная рябь разрывов разбросанно вспорола белизну снега, подтвердив серьезность намерений и высокий класс умельцев, решивших, должно быть, что по быстро уходящей мишени куда сподручней будет калибр покрупнее. Хохот и восторги трибун не унимались. Впереди темнел бурый бок борозды и, перемахнув глубину ее с ходу, прорванным мешком валюсь на ее гребень. Уже падая, остро хлестнула досада: "Нехорошо лечу... вывернуться бы". Но ни ловкости, ни времени справиться с собой и инерцией не хватило... Ожог в плече... истошный вопль (так в голод ночью волки воют). Едва не синхронно с моим воплем по трибуне полыхнул многоголосый восторженный стон отчаяния, преувеличенного сострадания, и хохот с подбадривающими выкриками завершил мое сольное выступление.

В перехваченном от боли дыхании коряво, медленно сползаю вниз. Видя, должно быть, что меня корежит неспроста, и, приняв эти мои конвульсии за удачное попадание, пулеметный расчет перенес свое внимание по вперед ушедшим. Странно, но возмущало не то, что стреляли - это вроде так оно и должно было быть, а то, что смеялись, и хотелось кричать, ответить на эти их неуместные насмешки, но положение все еще оставалось "на грани", боль вывихнутого плеча заслонила собою те недавние и в общем-то скудные школьные знания немецкого и, кроме как "Анна унд Марта фарен нах Анапа", в воспаленную голову ничего не приходило. Кричать же "гутен морген" - фраза, которая все время почему-то услужливо напрашивалась - совсем уж было ни к чему. Мог, конечно, орать, тогда уже очень распространенное "Гитлер капут!", но, честно говоря, боялся. Знал, что все они сами ждут этот "капут" не меньше моего и с досады, что его все нет и нет, а я своим кличем только растравляю их желание, они уж точно прикончат меня, чтоб был пока хотя бы этот "капут".

Долго полз к лесу какой-то канавой и снизу немного, но все же просматривал поле, изрытое бурой оспой кочек, однако - где наши, что с ними - ни узнать, ни увидеть не смог. Я, должно быть, пропустил где-то большой отрезок времени и теперь не в силах был догнать их, или они бежали быстрее меня... Да и тот азарт, та "развеселая" непринужденность, с которыми те шутники за пулеметом пытались настигнуть нас, с каждой минутой затухали. Да в общем-то смешного действительно было не так чтобы уж очень, и ребята довольно быстро это осознали. Не исключено также, что те двое, повстречавшиеся нам, поспешили убедить их, что ничего дурного, в общем-то, мы и не хотели. И из борозды в борозду, между кочек и опять в борозду, а теперь на дно этой глубокой канавы и опять на кочку... Почему?

Люди жестоки порой, почему нужно обязательно догнать, добить, уничтожить, что заставляет их быть такими?

Вскоре на опушке я нашел невредимыми своих четырех товарищей, ожидавших меня. И лес, доселе безразлично наблюдавший за нашим поединком, растворил наконец нас в своей серой, тихо шепчущей свою историю толще. За спиной над деревней все еще висел туман, но был так ослепительно ярко просвечиваем всходящим солнцем, что, казалось, вот-вот вспыхнет.

Над полотном виднелись две-три крыши, и черным обелиском устремившись в полыхающее над ним белое неистовство, четко вырисовывался шпиль костела, и ничто не говорило о страшной картине того двора. Они остались там.